

Дженет Уинтерсон

Тайнопись плоти

*Перевод Ирины Замойской
под редакцией М. Немцова*

С любовью — Пегги Рейнольдс.

Благодарю за гостеприимство Дона и Руфь Ренделл, предоставивших мне место для работы, Филиппу Брюстер, так много сделавшую для выхода этой книги, и сотрудников издательства «Джонатан Кейп», усердно работавших над подготовкой издания.

Почему любовь должна измеряться утратой?

Дождя не было уже три месяца. Деревья исследуют недра, буравя сухой грунт остриями корней, чтобы найти и вскрыть хоть какую-нибудь водную артерию.

Виноградные грозди засохли прямо на лозах. То, что должно было быть полным и твердым, сопротивляться касанию, прежде чем отдаться губам, сморщилось и увяло. Раньше мне доставляло удовольствие перекачивать пальцами темно-синие виноградины, выдавливая себе на ладони пахнущую мускусом мякоть. Но в этом году коричневые шкурки не привлекают даже ос. Даже ос. Так было не всегда.

Мне вспоминается сентябрь: Голуби Алый Адмирал Желтый Колос Оранжевый Закат. Ты сказала: «Я тебя люблю». Интересно, почему самое банальное, что мы можем сказать друг другу, все равно очень хочется слышать? «Я тебя люблю» — всегда цитата. Не ты первая сказала это, и не я, однако ты их произносишь, а я вслед за тобой, и мы говорим, как дикари, что выучили три эти слова и твердят их, словно молитву. Тогда они были молитвой и для меня, но сейчас больше нет никого на скале, вытесанной из моего тела.

Вы речь мне дали только для того,
Чтоб проклинать. Заешь краснуха вас.
За то, что говорю я¹.

Любовь требует выражения. Она не будет стоять тихо, ждать, не будет хорошо себя вести, не будет скромничать, мелькать поодаль, не шуметь, о нет. Она воздаст хвалы на языках, достигнет ноты столь высокой, что разобьет бокалы и расплещет то, что в них. Это вам не любовь к природе, это охота на крупную дичь. И дичь эта — вы сами. Будь она проклята, эта игра. И как можно выиграть, когда все меняется на ходу? Я назову себя Алисой, что играет в крокет, зажав под мышкой фламинго. В Стране чудес все хитрят, любовь — это и есть Страна чудес, не так ли? Любовью возвращаются миры. Любовь слепа. Все, что вам нужно, — это любовь. Однако никто не умирает от разбитого сердца. Ничего — переживешь. Все будет иначе, когда мы поженимся. Подумай о детях. Время лечит все. Ты до сих пор ждешь своего принца? Принцессу? Или может быть, целого выводка маленьких принцев и принцесс?

Все беды от клише. Точные чувства требуют точности выражения. А если я не испытываю ничего точного, любовь ли это вообще? Любовь вызывает такой страх, что хочется запихать ее в грудку выброшенных на помойку розовых и пушистых игрушек, а себе послать стандартную открытку: «Поздравляем с помолвкой!» Нет, что это я, совсем ум за разум зашел, нет никакой помолвки. Я изо всех сил смотрю в другую сторону, чтобы любовь меня не заметила. Я соглашусь на плохой пересказ, на небрежный язык, на ненужные жесты. На просиженное кресло клише. Все правильно, миллионы

¹ Слова Калибана из пьесы Шекспира «Буря» (акт I, сцена 2, перевод М. Кузьмина).

задов сидели в нем до меня. Пружины разболтаны, ткань вонюча и привычна. Чего мне бояться? И мои дед с бабкой так делали: вот, видите — это он, в стоячем воротничке и клубном галстуке, а вот она — в белом муслиновом платье, немного щурится на жизнь, что протекает где-то внизу. Они так поступали, мои родители так поступали, почему бы и мне так не поступить, а? Вот я стою, раскинув руки в стороны — нет, я не удерживаю тебя, просто пытаюсь сохранить равновесие, когда бреду сомнамбулой к тому креслу. Как мы будем счастливы. Как все будут счастливы. И все они жили долго и счастливо.

Жаркое августовское воскресенье. Я шлепаю по мелководью, где мальки дразнят солнышко животиками. По берегам реки на подлинной зеленой травке яркими пятнами психеделической живописи разбросаны спортивные шорты из лайкры и гавайские рубашки, сделанные на Тайване. Обычный семейный портрет — так любят позировать все семьи: брюхо папаши подпирает газету, мамаша скорчилась над термосом. Детки, худющие, как палки на прибрежных скалах, и обгоревшие, как сами скалы. Увидев, как тыходишь в воду, мамаша вздымает телеса с полосатого пляжного стульчика:

— Бесстыжая! Здесь же дети!

Ты смеешься и машешь рукой, твое тело искрится под водой. Чистый изумрудный поток повторяет твои формы, поддерживает тебя, река хранит тебе верность. Ты переворачиваешься на спину, твои соски скользят на поверхности, а река украсила твои волосы бусами. Ты вся молочно-белая, только волосы, рыжие волосы выются по бокам.

— Я сейчас позову мужа! Джордж, иди сюда! Сюда, Джордж!

— Ты что, не видишь? Я смотрю телевизор! — не оборачиваясь бурчит тот.

Ты поднимаешься из реки, и вода стекает по твоему телу серебристыми ручьями. Забыв обо всем на свете, я иду к тебе прямо по воде. Целую тебя, ты обнимаешь меня — прохладные руки на моей обожженной спине. Ты говоришь:

— Здесь нет никого, кроме нас с тобой.

Я оглядываюсь: вокруг пустые берега.

Ты не хотела, чтобы мы бросались теми словами, что вскоре стали нашим личным алтарем. До встречи с тобой мне доводилось говорить их тысячу раз, бросать монетками в колодец желаний, надеясь, что они помогут мне стать собой. Слова слетали с моих губ по всякому поводу — но не тебе. Как незабудки девушкам, которые сами должны понимать, что к чему. Кнут и пряник. Конечно, мне противно думать о себе как о человеке неискреннем, однако, если я говорю, что люблю, но вовсе этого не чувствую, то как еще мне себя называть? Хочу ли я лелеять тебя, обожать тебя, уступать тебе, становиться ради тебя лучше? Хочу ли я, глядя на тебя, видеть тебя всегда? Всегда говорить тебе правду? И если любовь складывается не из этого, то из чего тогда?

Август. Мы спорим. Ты хочешь, чтоб в любви всегда так было, правда? 92 градуса по Фаренгейту в тени. Так интенсивно, так жарко, и чтобы солнце своей дисковой пилой вгрызалось в твое тело. Может, все дело в том, что ты из Австралии?

Ты не отвечаешь, просто держишься за мою горячую руку своими прохладными пальцами, а сама шагаешь дальше в своем шелке и льне. Я чувствую себя глупо. На мне шорты с татуировкой «РЕЦИКЛ» на одной половине. Смутно помню, была у меня когда-то подружка, которая считала, что разгуливать перед памятниками в шортах неприлично. Перед нашими свиданиями мне приходилось пристегивать свой велик на парковке Чаринг-Кросса и переодеваться в общественном туалете, прежде чем встретиться с ней у колонны Нельсона.

— К чему? — как-то пришло мне в голову. — Ведь у него всего один глаз.

— Зато у меня два, — поцеловала она меня в ответ. Глупо подкреплять нелогичность поцелуем, однако и я поступаю точно также.

Ты по-прежнему не отвечаешь. Почему людям так нужны ответы? Отчасти потому, как мне кажется, что без ответа, неважно какого, вопрос вскоре начинает звучать ужасно нелепо. Попробуйте, стоя перед классом, спросить, какой город — столица Канады. Глаза смотрят на вас, некоторые равнодушны, некоторые откровенно враждебны, а некоторые и вообще не смотрят. Вы снова задаете тот же вопрос. «Какой город — столица Канады?» И ожидая в молчании ответа, вы

чувствуете себя совершенной жертвой, мало того — сами начинаете сомневаться. Какой город на самом деле — столица Канады? Оттава? Почему Оттава, а не Монреаль? Монреаль гораздо симпатичнее, там готовят хороший кофе-эспрессо, к тому же у вас там живет друг. Да и вообще, какая разница, что у них за столица, все равно они ее, возможно, сменят в следующем году. Может, Глория сегодня придет вечером в бассейн. И так далее.

А вопросы посерьезнее, те, на которых не бывает одного ответа, те, на которых вообще не бывает ответов — в молчании с ними справиться сложнее. Раз высказанные, они не испаряются, не становятся мечтательной дымкой. Раз высказанные, они приобретают форму и плотность, цепляются за ноги на ступеньках, пробуждают ночью ото сна. Черная дыра поглощает все, что ее окружает, и даже свету от нее не спастись. А может, лучше вовсе ничего не спрашивать? Лучше быть довольной свиньей, чем неудовлетворенным Сократом? Но на сельскохозяйственных фермах со свиньям поступают хуже, чем с философами, поэтому я рискну.

Мы вернулись в снятую комнату и вдвоем легли на одну из односпальных кроватей. Во всех таких комнатах от Брайтона до Бангкока покрывала по цвету не соответствуют коврику, а полотенца слишком тонкие. Я подкладываю одно под тебя, чтобы не запачкать простыню. У тебя течет кровь.

Идея снять комнату принадлежала тебе, мы хотели быть вместе постоянно, а не только за обедом и ужином, не только за чаем в библиотеке. Вы тогда еще не развелись. Хотя мне угрызения совести не свойственны, опыт заставил меня испытать их в том, что касается благословенных союзов. Раньше мне казалось, что современный брак — зеркальное стекло витрины, что так и просит кирпича. Показуха, самодовольство, подхалимаж, скупость, себялюбие. Вот двигаются по улице две супружеские пары — мужчины вместе впереди, женщины в хвосте, ни дать ни взять цирковая упряжка. Мужчины подносят от стойки джин с тоником, женщины удаляются в туалет со своими ридикулями. Так быть не должно, но чаще всего так есть. Мне пришлось повидать много браков. Нет, не как главному действующему лицу — всего лишь с галерки. И мне стало ясно, что всегда повторяется одна и та же история. Примерно так:

Интерьер. После полудня.

Спальня. Занавески полураздвинуты. Разметанные простыни. На кровати, глядя в потолок, лежит нагая женщина определенного возраста. Она хочет что-то сказать. Ей трудно. Из кассетника доносится голос Эллы Фицджеральд: «Леди поет блюз».

Нагая женщина:

Я хотела сказать тебе, что обычно этим не занимаюсь. Наверное, это называется адюльтер. (Смеется.) Никогда не занималась этим прежде. И не знаю, смогу ли еще раз решиться. Ну, с кем-то еще, я не имею в виду тебя. О, с тобой я хочу заниматься этим снова и снова, опять и опять. (Перекатывается на живот.) Понимаешь, я люблю своего мужа. Он совсем не похож на других мужчин. Иначе я не вышла бы за него. Он другой, у нас с ним много общего. Мы с ним разговариваем.

Кто-то проводит пальцем по ее губам. Лежа сверху, пристально смотрит на нее, не произнося ни слова.

Нагая:

Мне кажется, если бы я не встретила тебя, тогда бы мне следовало искать что-нибудь другое. Например, могла бы получить степень в Открытом университете, но я не никогда не думала об этом. Не хочу причинять ему лишнего беспокойства. Вот почему я не могу ему ни в чем признаться и почему нам приходится таиться. Я не хочу быть жестокой и эгоистичной. Ты ведь понимаешь, правда?

Кто-то встает и направляется в туалет. Женщина приподнимается на локтях и продолжает монолог, повернувшись к ванной.

Нагая:

Не задерживайся, любовь моя! (Пауза.) Я пыталась выбросить тебя из головы, но мое тело сильнее меня. Я думаю о тебе день и ночь. Когда я читаю, я читаю тебя. Когда я ем, я ем тебя. Когда он прикасается ко мне, я думаю о тебе. У нас счастливый брак, так почему же я без конца думаю о

твоим теле и вижу перед собой твоё лицо? Что ты со мной делаешь?

Камера показывает ванную. В ней кто-то плачет. Конец сцены.

Конечно, было бы слишком лестно думать, что это вы и только вы могли вызвать такое. Что без вас брак при последнем издыхании, каким бы жалким ни был, если бы и не процветал на такой скудной диете, то по крайней мере бы не увял окончательно. Он давно уже испустил дух, скукожился и никому не нужен, осталась одна раковина, которую покинули оба. Правда, есть люди, которые коллекционируют раковины, тратят на них деньги, выставляют в витринах. Другие ими любят. Мне доводилось видеть довольно знаменитые раковины, а множеству других дуть в полость. Иногда, после меня на раковине остаются заметные трещины, и владельцы просто разворачивают её так, чтобы дефект скрывался в тени.

Видите? Даже здесь, в укромном уголке вдали от всех, мой язык идет на поводу у обмана. Нет, моей вины во всем этом нет: не я срываю замки, не я вламываюсь в дверь, не я беру чужое. Двери уже были открыты. Конечно, не она сама их открывала. На это имелся дворецкий по имени Скука. Она говорила: «Скука, устрой что-нибудь веселое». Он отвечал: «Будет сделано, мадам», и натягивал белые перчатки, чтобы мне не удалось опознать его, когда он откроет дверь в мое сердце, чтобы мне казалось, будто имя его Любовь.

Вы думаете я пытаюсь избежать ответственности? Нет, я отдаю себе отчет и в прежних, и в нынешних своих поступках. Никогда не приходило мне в голову пойти к церковному алтарю, в отдел регистраций, клясться в любви до гроба. Мне не доставало смелости. Не доставало решимости вымолвить: «Пускай нас свяжет это кольцо». Сказать: «Я обожаю тебя всем своим телом». Да и как можно сказать такое и без зазрения совести трахать кого-то другого? Если вы дали такие клятвы и нарушили их, разве не следует и заявить об этом в открытую?

Удивительно, что брак, дело столь публичное и доступное взорам, порождает и самую тайную из связей — измену.

У меня была одна любовница, ее звали Вирсавия. В браке она была счастлива. С нею мне стало понятно, что такое плавать на подводной лодке. Мы не могли встречаться с нашими друзьями, по крайней мере она не звала своих, поскольку они были и его друзьями тоже. Моим тоже ничего нельзя было говорить — об этом просила она. Мы медленно погружались все глубже в наш ограниченный любовью, выстеленный свинцом гроб. Говорить правду, утверждала она, это роскошь, которую мы не можем себе позволить, и ложь превращалась в добродетельную экономию, которой мы придерживались. Говорить правду было больно, поэтому ложь стала подвигом. Два года меня не покидала надежда, что она в конце концов все-таки, все-таки решится от него уйти, а потом у меня вырвалось:

— Я пойду к нему и все расскажу!

В ответ она заявила, что это «чудовищно!». Чудовищно будет сказать ему такое. Чудовищно! Мне вспомнился прикованный к скале Калибан: «Заешь краснуха вас за то, что говорю я».

После, когда удалось вырваться из этого ее мирка двоемыслия и масонских знаков, мне пришлось научиться воровать. До того не было нужды красть у нее что бы то ни было — она сама выкладывала свой товар на одеяло и просила выбирать. (В скобках указывалась цена.) Когда же мы расстались, мне захотелось получить от нее свои письма. Но она сказала, что хотя авторское право остается за мной, письма эти — ее собственность. То же самое она говорила и о моем теле. Наверное, это некрасиво — залезть в ее чулан и забрать свое. Найти письма не составило труда — она сложила их в большую мягкую сумку и надписала на бирке «Оксфама», что это следует вернуть мне в случае ее смерти. Как трогательно: он безусловно должен был прочесть письма, но ее в тот момент уже не будет, чтобы испытать на себе последствия. А мне бы захотелось их читать? Наверное. Как трогательно.

Пока костер, разожженный в саду, пожирал один за другим листки моих писем, меня терзали мысли о том, как легко сжечь прошлое и как трудно его забыть.

Вы уже поняли, что со мной так бывало снова и снова? Наверное, думаете, мне постоянно приходится залезать в чуланы замужних женщин? На высоте у меня голова не кружится — это в

глубинах мне становится плохо. Странно, что я вообще туда попадаю.

Мы лежали на постели в снятой комнате, и ты брала из моих рук сливы, что переливались всеми оттенками синяка. Природа изобильна, но переменчива. Один год морит голодом, а другой убивает изобилием любви. Тогда ветви деревьев клонились от тяжести плодов до земли, а ныне они голые плачут на ветру. Ни единой спелой сливы, хотя сейчас август. Не ошибаюсь ли я в этой сомнительной хронологии? Может, следует припомнить глаза Эммы Бовари или платье Джейн Эйр? Не знаю. Сейчас я в другой комнате и пытаюсь понять, с какого момента все пошло не так. Где мы сбились с курса? Ты уплыла, а я все путаюсь в своих навигационных картах.

Ладно, тем не менее продолжу. Там были сливы, и ты брала их у меня из рук. Ты сказала:

— Почему я тебя так пугаю?

Пугаешь? Да, пугаешь, это правда. Ты ведешь себя так, будто мы вместе навсегда. Ты ведешь себя так, будто время бесконечно, и наше счастье никогда не кончится. Но как я могу в это поверить? Мой опыт подсказывает, что все хорошее быстро кончается. То есть, теоретически ты, конечно, права, и квантовая физика права, и религия права, и романтики тоже правы. Время бесконечно. Но на самом деле мы всегда смотрим на часы. И если я подхлестываю нашу связь, то потому, что боюсь за нее. Боюсь, где-то есть закрытая для меня дверь, в любую минуту она может открыться, и ты исчезнешь из моей жизни. И что потом? Простукивать стены как инквизиции в поисках сбежавшего святого? Где я найду подземный тайный ход к тебе? Я останусь взаперти в этих четырех стенах.

Ты сказала:

— Я собираюсь уйти.

О да, ты вновь вернешься в свою раковину. А я останусь в дураках. И ведь надо же было столько раз повторять себе: не влипай!

Ты сказала:

— Перед тем как мы ушли сегодня, я сказала ему, что даже если ты и передумаешь, не передумаю я.

Это не тот сценарий. Здесь мне следует преисполниться праведного гнева. Здесь ты должна бы залиться слезами и сказать, как тяжело тебе ему признаться, и что же тебе делать, что же тебе делать, и что я, конечно, тебя возненавижу за это, да, ты знаешь, что я тебя буду проклинать, и так далее, и ни одного вопроса ко мне в этом монологе, поскольку дело уже решенное.

Но ты смотрела на меня, как Бог смотрел когда-то на Адама — с любовью и гордостью, и от этого взгляда меня охватила растерянность. Захотелось немедленно бежать и найти фиговый листок, чтобы прикрыться. Стыд и срам — не подготовиться к такому, не справиться с ним.

Ты сказала:

— Я люблю тебя, из-за этого вся остальная моя жизнь кажется ложью.

Разве такое возможно? Возможно ли, что она сказала такую простую и очевидную вещь? Или это я терплю кораблекрушение и выживаю из моря пустые бутылки, чтобы прочесть записки, которых в них нет? Но ты же здесь, ты рядом, ты — как добрый джинн, ты вырастаешь в десять раз, высишься надо мной, руки твои подобны отрогам гор. Твои рыжие волосы пылают огнем, и ты говоришь:

— Загадай три желания, и все исполнится. Загадай три сотни желаний, и я почту за честь выполнить любое.

Чем мы занимались в тот вечер? Прогулялись, не разжимая объятий, в кафе, которое было нашей церковью, и съели по греческому салату, у которого был вкус свадебного пирога. Встретили по дороге кота и уполномочили его быть нашим свидетелем, а свадебными букетами стал кукушкин цвет по берегам канала. К нам пришло больше двух тысяч гостей, но в основном — мошара, и мы чувствовали себя такими старыми, что не было жалко раздаривать им себя. Заниматься любовью под луной хорошо лишь в песнях кантри или в кино, а на деле от этого бывает только зуд.

У меня как-то была подруга, которая просто торчала от звездных ночей. Она считала, что на кроватях спят только в больницах. Всякое место, не покрытое ничем мягким, казалось ей пригодным для секса. При виде пуховика она немедленно включала телевизор. Мне приходилось с этим мириться, где только можно — в кемпингах и в каное, в вагонах «Бритиш Рейл» и в салоне «Аэрофлота». Пришлось купить сначала фuton, затем — гимнастический мат, постелить на пол толстенный ковер, носить с собой клетчатый плед и уподобиться спятившему члену партии шотландских националистов. В конце концов, когда мне в пятый раз пришлось посетить врача, чтобы

удалить кое с каких мест колючки чертополоха, он заметил:

— Любовь, конечно, вещь прекрасная, но знаете, для таких, как вы, есть специальные клиники.

Мне вовсе не улыбалось заиметь в своей медицинской карточке запись «склонности к извращениям», а кроме того, романтика романтикой, но некоторые унижения — это чересчур. Так что мы сказали друг другу: «Прощай», и хотя я скучаю по некоторым вещам, вспоминая о ней, мне все же приятно прогуливаться на природе, не ожидая никаких неприятностей от кустарника или придорожных зарослей.

Луиза, на той узкой кровати, на тех ярких простынях мной овладело страстное желание разведать тебя, как охотник за сокровищами разведывает маршрут. Мне хотелось познать и освоить тебя, и ты бы перекроила меня по своему желанию. Мы пересечем границы друг друга и превратимся в единую страну. Зачерпни руками с моей тучной нивы, пусть плоды мои будут сладкими для тебя.

Июнь. Самый влажный июнь на моей памяти. Мы занимались любовью каждый день. В наслаждении нашем мы были жизнерадостны, как жеребята, похотливы, как кролики, невинны, как голуби. Мы не думали об этом, да у нас и не было на это времени. Мы использовали все время, что было в нашем распоряжении. Те краткие дни и мимолетные часы были нашим маленьким приношением божеству, которого не умилоstitвить сожжением плоти. Мы поглощали друг друга и не могли насытиться. Были мгновения отдыха, моменты спокойствия, словно гладь искусственного озера, но за спинами у нас всегда рокотала новая приливная волна.

Есть люди, полагающие, что секс не важен в отношениях. Дружбы и умения ладить друг с другом хватит на много лет. Безусловно, они верят в то, что говорят, но истинно ли это? Передо мной тоже вставал этот вопрос. Да и кто не признал бы его истинным после того, как много лет играл Лотарио и в конце концов обнаружил, что истратил все деньги со счета и остался лишь с несколькими пожелтевшими любовными письмами, как долговыми расписками? До смерти заезжены свечи и шампанское, букеты роз, завтраки на рассвете, трансатлантические телефонные звонки и внезапные перелеты. Все это казалось мне необходимым, чтобы избежать какао перед сном и грелок в постель. Обжигающее пламя представлялось мне более желанным, чем центральное отопление. Но за этим таилась ловушка клише: оказалось, что мои излишества ничем не отличаются от украшенных розанами дверей моих предков. Совершенство мне представлялось непрерывным оргазмом, без сна, без отдыха. Бесконечный экстаз. Меня засосало в помойку любовного романа. Драйва, конечно, в нем будет побольше — мне всегда больше нравились машины спортивного типа, — но нельзя же постоянно выжимать сцепление из реальной жизни. Все кончается тем, что вас заарканивает какая-нибудь домашняя девочка. Так все и было.

У меня была когда-то подружка-голландка Инга, и роман наш уже заканчивался последними бурными спазмами. Она была убежденным романтиком и анархофеминисткой при том. Ей было трудно, ведь при таком сочетании невозможно взрывать красивые здания. С одной стороны, она верила, что Эйфелева башня — отвратительный символ диктатуры фаллоса, но когда ее руководство приказывало взорвать лифт, чтобы никто не мог произвольно измерять эту гигантскую эрекцию, у Инги перед глазами вставали юные романтики, с высоты любующиеся Парижем и распечатывающие радиограммы со словами «Je t'aime»².

Мы пошли с ней в Лувр на выставку Ренуара. Инга надела свою вязаную шапочку, которую обычно носила на боевые задания, и сапоги, чтобы ее не приняли за туристку. То, что пришлось платить за билеты, она оправдывала тем, что проводит «политическое исследование».

— Только глянь на этих ню! — тыкала меня в бок она. По правде сказать, совет был излишним. — Сплошь голые тела, униженные, выставленные на всеобщее обозрение. И как ты думаешь, сколько за это получали несчастные модели? Едва ли им хватало на кусок хлеба. Сорвать бы их со стен — и можно идти в тюрьму с криками «Vive la resistance!»³

Ренуаровские ню — не самые утонченные на свете, но несмотря на это когда мы подошли к «Булочнице», Инга рыдала.

— Ненавижу все это, потому что оно меня трогает!

Мне не хотелось говорить, что вот так и рождаются тираны, пришлось ограничиться замечанием:

— Но ведь это не художник, а всего лишь краска. Забудь про Ренуара, думай только о картине.

² Я тебя люблю (фр.).

³ Да здравствует сопротивление! (фр.)

Она ответила:

— Разве ты не знаешь, что Ренуар писал все это своим членом?

— Еще бы. Чем же еще он мог писать? Когда он умер, у него между ног нашли только засохшую кисточку.

— Врешь, наверное?

Вру?

В конечном итоге мы разрешили Ингину эстетическую дилемму, подложив «семтекс» в строго отобранные общественные писсуары. Чудовищно уродливые бетонные конструкции — явные служители пениса. Правда, она говорила, что я не совсем гожусь для борьбы за новый матриархат, потому что испытываю УГРЫЗЕНИЯ. Это мой смертный грех. Тем не менее, нас разлучил не терроризм, а эти дурацкие голуби...

Моя работа заключалась в том, чтобы войти в писсуар с Ингиным чулком на голове. Само по себе это не должно было привлекать особого внимания — в мужских туалетах царит дух свободомыслия. Однако затем в мои задачи входило предупредить находившихся там парней, что если они сейчас же не отвалят, их яйца полетят по закоулочкам. Чаще всего в писсуарах оказывалось человек пять — стояли, держа в руках свои причиндалы, и пялились на побуревшую раковину, как на Святой Грааль. Интересно, почему мужчины так любят все делать хором? Мне нравилось цитировать Ингу: «Этот туалет — символ патриархата, он должен быть разрушен», а затем добавлять от себя: «Моя подружка прямо сейчас поджигает бикфордов шнур. Не могли бы вы закончить свои дела снаружи?»

Что бы сделали вы в таких обстоятельствах? Разве нормальному мужику мало угрозы кастрации со смертельным исходом, чтобы отряхнуть член и делать ноги? А эти никуда не бежали. Все время повторялось одно и то же. Они лишь высокомерно смахивали последние капли и продолжали обсуждать ставки на бегах. Я человек мягкий, грубостей не люблю, но на подобные случаи у меня имелось оружие.

Пистолет извлекался из-за пояса шорт «РЕЦИКЛ» (да, они служили мне долго). Дуло, наведенное на ближайшую висюльку, заставляло ее обладателя поторопиться, и он говорил что-нибудь типа: «Ты в своем уме или как?» — однако быстро застегивал молнию и спешил удалиться под мои выкрики.

— Руки вверх, мальчики! Не трогай его — на ветерке быстро обсохнет.

В этот момент раздавались первые такты «Странников в ночи». Это был наш с Ингой условный сигнал, означавший, что до взрыва осталось пять минут, готовы клиенты или нет. Следовало как можно скорей выгнать упиравшихся Джонов-Томасов и клеить ноги. А догнав передвижную закусочную на колесах, которую Инга использовала как наше укрытие, протиснуться внутрь, устроиться рядом с ней — и тут уж можно было обернуться назад и выглянуть из-за булочек. Отличный взрыв. Просто классный, жалко даже тратить его на этих недомерков. Мы с нею чувствовали себя, будто на краю света — одинокие террористы, ведущие справедливую войну за более совершенное общество. Мне казалось, что я люблю ее. А потом случилась эта нелепая история с голубями.

Инга запрещала мне звонить ей по телефону. Считала, что телефоном пользуются только секретарши, то есть женщины, лишённые социального статуса. Прекрасно, тогда будем переписываться. Однако оказалось, что почтовой службой заправляют деспоты, использующие и эксплуатирующие труд бедняков, не объединённых в профсоюзы. Что было делать? Мне вовсе не улыбалось жить в Голландии. Она не хотела жить в Лондоне. Как нам поддерживать связь?

Голуби, сказала она.

Вот в результате чего мне пришлось снять мансарду в Женском институте Пимлико. Меня не интересовала ни их кампания против ядовитых аэрозолей, ни то, что они пекут мерзкие кексики. Меня заботило только то, что чердак их института выходит точно в сторону Амстердама.

Здесь можете усомниться в правдивости моего рассказа. Можете спросить, на кой черт мне сдалась Инга, когда существуют бары для одиноких? Ответ один: ее грудь.

Не выпяченные вперед груди, что женщины носят, как эполеты — свидетельство их высокого ранга. Но и не объекты подростковых фантазий бабников. Округлости правильной формы повидали лучшие дни и уже начали уступать силе земного притяжения. У Инги была смуглая кожа, вокруг сосков — еще потемней, сами же соски выглядели почти черными. «Мои сестрички-цыганки», вертелось у меня на языке при виде их, но, разумеется, нечего было и думать произнести это вслух. Мое преклонение перед Ингиной грудью было простым и недвусмысленным, тут не было ни замены матери, ни последствий родовой травмы: мне она действительно нравилась. Фрейд не во всем прав. Иногда грудь это просто грудь это просто грудь.

Полдюжины раз моя рука поднимала телефонную трубку и шесть раз опускала ее обратно. Скорее

всего, она не ответит. Она бы давно телефон вообще отключила, если б не звонки матери из Роттердама. Инга никогда не объясняла мне, как она отличает звонки матери от звонков секретарш. И откуда она сможет узнать, что ей звонит секретарша, а не я, к примеру? Мне так хотелось с ней поговорить.

Мои голуби — Адам, Ева и Поцелуйчик, — не смогли долететь до Голландии. Ева добралась до Фолкстоуна, Адам выбыл из соревнования и поселился на Трафальгарской площади — еще одна победа Нельсона. Поцелуйчик же боялся высоты, а это для птицы большой недостаток, но Женский институт забрал его к себе как талисман и окрестил его Боадицеей. Если он не умер, то так там и живет. Не знаю, что случилось с Ингиными птицами. Ко мне они так и не прилетели.

Потом мы познакомились с Жаклин.

Мне надо было настелить ковровое покрытие в новой квартире, и пара друзей пришли мне помочь. И привели с собой Жаклин. Одному она была любовницей, а наперсницей служила обоим. Эдакая домашняя киска. Она продавала секс и свои симпатии по 50 фунтов за уикэнд плюс полноценный воскресный обед. Несколько грубовато-прямолинейно, но цивилизованно.

У меня в тот момент были новая квартира и надежда начать новую жизнь после одного гнусного романа, от которого у меня развился триппер. Нет-нет, с моими органами все в норме — то был душевный триппер. И сердце в то время мне следовало держать при себе, чтобы никого не заразить. Новая квартира была просторная и запущенная, и мне казалось, что, приведя в порядок ее, я приведу в порядок и себя. Та, что заразила меня, осталась с мужем в прекрасно обставленном доме, однако отстегнула мне 10 000 фунтов под видом финансовой помощи. Она это представила, как «даю займы», но для меня прозвучало, как «кروавые деньги». Она давала мне отступного. Как бы мне хотелось никогда в жизни с ней больше не встречаться. К несчастью, она также была моим зубным врачом.

А Жаклин работала в зоопарке. Занималась пушистыми зверюшками, которым не нравятся посетители. У тех, кто платит по пять фунтов за вход, не хватает терпения дожидаться, пока пушистые зверюшки не перестанут их бояться и вылезут из укрытия. Жаклин должна была делать так, чтобы все сновалучилось радостью. Она была добра с родителями, добра с детьми, добра с животными, добра со всеми, кому не по себе. Она была добра со мной.

Когда она появилась, одетая модно, но не вызывающе, подкрашенная, но почти незаметно, и заговорила ровным монотонным голосом, мне подумалось, что с такой женщиной, да еще в таких нелепых очках, просто не о чем говорить. После Инги, после краткого, но бурного рецидива страсти к дантистке Вирсавии, мне и в голову не приходило, что кто-то может мне понравиться. И уж менее всего — женщина, чьи волосы подверглись издевательствам парикмахера. Ей можно только поручить заваривать чай, а я тем временем буду острить со старыми друзьями по поводу разбитых сердец, а потом вы втроем с сознанием исполненного долга мирно отправитесь по домам, а я открою банку чечевицы и послушаю радиопередачу «Наука сегодня».

Увы мне. Нет ничего сладостнее, чем упиваться этим, ведь так? Жалость к себе — это секс для депрессивных. Мне припомнилась любимая присказка бабушки, которую та произносила тоном проповедника, наставляющего заблудшего горемыку: «Из кого дерьмо не лезет, пусть с горшка немедля слезет». Ее сама эта болезненная дилемма не мучила, ужасный выбор, к которому она вынуждала, понятен не был. Все верно. В результате, я — по уши в дерьме.

Жаклин сделала мне сэндвич и спросила, не нужно ли мне чего-нибудь помыть. Потом пришла назавтра — и на послезавтра. Рассказала мне обо всех проблемах содержания лемуров в зоопарке. Принесла собственную швабру. Она работала с девяти до пяти с понедельника по пятницу, водила двухместную малолитражку, а книги брала в читательских клубах. У нее не было фетишей, слабостей, заскоков и проколов. Кроме всего прочего, не состояла в браке — ни в настоящее время, ни в какое иное. Ни мужа, ни детей.

Она наводила на мысли. Это не была любовь — у меня не было даже желания полюбить ее. Никакой страсти, сама мысль о страсти к Жаклин казалась мне нелепой. Таким образом, все говорило в ее пользу. К тому времени до меня стало доходить, что «влюбленность» было бы правильнее называть «хотьбой по канату». Длительное балансирование с завязанными глазами на дрожащем лучике надежды, когда одно неверное движение грозит падением в неизведанную пучину, породило у меня жажду стереотипов — насиженного кресла. Мечту о проторенном пути и отличном зрении. И что в этом плохого? Это называется повзрослеть. Многие, знаю, стремятся прикрыть свое стремление к комфорту таким ореолом романтики, но ореол быстро выцветает. Слишком долгий путь им

предстоит — годы откладываются на талии, появляется полдомика в пригороде. Что в этом плохого? Смотреть до полуночи телевизор или храпеть бок о бок — да пусть себе храпят хоть до второго пришествия. Или пока смерть не разлучит. Не правда ли, прелестная годовщина? Но что во всем этом плохого?

О Жаклин пришлось задуматься. Она не имела разорительных наклонностей в выборе одежды, она ничего не понимала в винах, не рвалась сходить в оперу и она в меня влюбилась. У меня не было денег, а боевой дух мой был подорван. Чем не брак, заключенный на небесах?

Мы пришли с ней к соглашению о том, что подходим друг другу, сидя в ее малолитражке и поглощая то, что взяли на вынос в китайском ресторанчике. Ночь была облачная, и мы не могли любоваться на звезды, а кроме того ей нужно было вставать в половине восьмого на работу. Не помню, мы, кажется, даже и не спали с ней в ту ночь. Легли мы вместе уже на следующий вечер, ноябрь стоял холодный, пришлось даже развести огонь в камине. Небольшой изящный букет — мне цветы все равно нравятся, но доставать скатерти и новые бокалы — это уже чересчур. Еще чего не хватало: мы не такие. У нас все просто и заурядно. Именно это мне и нравится. Ценность здесь — в аккуратности. Жизнь моя больше никуда не расплзается. Растениям положено расти в горшках.

Прошло несколько месяцев, и мой разум полностью исцелился. Страдания, боль потерянной любви и горечь несбывшихся надежд — все исчезло. Кораблекрушение удалось пережить и мне теперь нравился мой спасительный островок, снабженный кранами с горячей и холодной водой и регулярно навещаемый молочницей. Я превращаюсь в апостола заурядности, проповедую друзьям преимущества обыденности и благословляю уютные пути своего существования. Впервые в жизни я понимаю то, о чем мне всегда твердили окружающие: страсть хороша по праздникам, но не в будни.

Мои друзья не вполне разделяли мое радужное настроение. На Жаклин посматривали с настороженным одобрением, что же до меня, а на меня смотрели, как на пациента психушки, в чьем состоянии наступила недолговременная ремиссия. Недолговременная? Да я уже почти год так живу. Вкалываю в поте лица, тружусь не покладая рук, как... как... как вот это слово на букву «с»...

— Тебе просто скучно, — сказал мой друг.

Я протестую с горячностью завязавшегося алкоголика, застигнутого за рассматриванием бутылки. Жизнь моя вошла в колею, у меня все хорошо...

— А секс у вас есть?

— Иногда. Понимаешь, это не имеет особого значения. Да, иногда мы спим. Когда нам обоим этого хочется. Знаешь, мы много работаем. Времени мало.

— Когда ты видишь ее, ты ее хочешь? Когда ты смотришь на нее, ты ее видишь?

Я взрываюсь. Ну, почему, почему мой старый друг, который прежде ни единым словом не пытался облегчить мои страдания, набрасывается с вопросами в тот самый момент, когда я, наконец, так счастливо справляюсь со всеми своими проблемами. Напрягая мозги, я выбираю линию защиты. Может, стоит обидеться? Удивиться? Или обратить все в шутку? Мне хочется сказать что-нибудь обидное, чтобы выплеснуть гнев и оправдать себя. Но когда имеешь дело со старыми друзьями, это сложно. Сложно, потому что общаешься запросто. Мы знаем друг друга как облупленные, и притворяться глупо. Остается только пожать плечами и налить себе выпить.

— Нет в мире совершенства.

В бутоне завелись черви. Ладно, что с того? Во многих бутонах они водятся. Вы возитесь с растением, опыляете, окапываете, надеетесь, что червоточина будет не очень заметна, вы молитесь на солнечные светлые деньки. Дайте цветку распуститься, и никто не заметит объеденных лепестков. То же самое происходит со мной. Я отчаянно цепляюсь за узы, связывающие меня с Жаклин, жажду их сохранить. Пусть мои побуждения нельзя назвать самыми благородными, но по сути дела это — мой последний окоп. Больше никаких гонок. Жаклин любит меня просто и бесхитростно. Никогда не пристает ко мне, если я говорю ей: «Не приставай», не плачет, если я ору на нее. Говоря по правде, она в таких случаях тоже орет на меня. Она заботится обо мне так же, как о крупных кошках в своем зоопарке. И она мною гордится.

Мой друг сказал:

— Тебе бы лучше подцепить того, кто больше тебе подходит.

А затем мы встретились с Луизой.

Владей я кистью, мне, быть может, удалось бы изобразить ореол ее волос в виде роя бабочек. Миллион «красных адмиралов», сверкающий нимб, полный жизни и движения. Есть множество легенд о женщинах, превращающихся в деревья, но я не знаю таких, где дерево превращается в

женщину. Наверное, странно, что возлюбленная напоминает дерево? Но это так, а точнее — ее волосы, взметенные порывом ветра. Мне даже казалось, она вот-вот зашелестит. Нет, она все-таки не шелестела, хотя ее кожа имела тот серебристый оттенок, какой бывает у молодых березок, облитых лунным светом. В ее присутствии мне чудилось, что меня окружают юные нагие саженцы.

В начале никакой разницы не было. Мы прекрасно общались втроем. Луиза хорошо относилась к Жаклин и не пыталась встать между нами даже в качестве подруги. Да и зачем бы ей это понадобилось? Вот уже десять лет она счастливо живет с мужем. Мы познакомились с ним — он был врачом с правильными врачебными повадками. Правда, он был неприметным, но ведь это не порок.

— До чего она красивая, правда? — сказала Жаклин.

— Кто?

— Луиза.

— А, да-да, конечно, красивая, если такие в твоем вкусе.

— А тебе нравится такой тип?

— Если ты о Луизе, то да. Ты же знаешь. Да тебе и самой она нравится.

— Да.

И Жаклин снова отправилась по страницам журнала «Дикая природа мира», а я — на прогулку.

Прогулка как прогулка, ничего особенного, но внезапно обнаружилось, что я стою у парадных дверей дома, где живет Луиза. Господи, что со мной? Что я здесь делаю? Ведь мне нужно совсем в другую сторону.

Звоню. Дверь открывает Луиза. Ее муж Эльджин в кабинете — играет в компьютерную игру под названием «Госпиталь». Нужно прооперировать пациента, а если ошибетесь, пациент устроит вам взбучку.

— Привет, Луиза! У меня тут были дела неподалеку, и вот, думаю, не заскочить ли к вам...

Заскочить. Что за дурацкое слово. Я что — блоха прыгучая?

Мы вместе прошли в холл. Из дверей кабинета высунулась голова Эльджина.

— Привет всем! А, это ты! Привет-привет! Сейчас приду, у меня тут небольшие проблемы с печенью, никак не пойму, в чем дело.

В кухне Луиза угощает меня бокалом вина и целомудренным поцелуем в щеку. То есть он был бы целомудренным, если бы она просто чмокнула меня и все. Однако, едва запечатлев на моей щеке обязательный легкий поцелуй, она почти незаметно проводит по ней губами. Это длится мгновение, от силы два — можно считать, что ничего и не было. Если только это не ваша щека. Если только вы не думаете об этом и не гадаете, думает ли об этом другой. Она не подает виду. И я тоже притворяюсь, что ничего не произошло. Мы болтаем и слушаем музыку, и я не замечаю, что уже стемнело, бутылка пуста и в желудке у меня тоже пусто. Телефон звонит неожиданно громко, и мы подсакиваем вдвоем. Луиза берет трубку, вежливо отвечает, и, минутку послушав, передает трубку мне. Это Жаклин. Голос у нее очень грустный, нет, без упреков, но очень грустный.

— Я не могла понять, где ты. Уже около полуночи. Я искала тебя.

— Извини. Я немедленно возьму такси. Скоро буду.

Я поднимаюсь с улыбкой.

— Ты не вызовешь мне такси?

— Я отвезу тебя, — говорит она. — Было бы неплохо повидать Жаклин.

Всю дорогу домой мы молчим. Улицы — тихи и пустынные. Останавливаемся у моего дома, я говорю спасибо, и мы договариваемся встретиться за чаем на следующей неделе. А потом она говорит:

— Я взяла билеты в оперу на завтра, а Эльджин не может. Ты не сходишь со мной?

— Завтра мы с Жаклин собирались провести вечер дома.

Она молча кивает, и я вылезая из машины. Никакого поцелуя.

Что делать? Следует ли мне остаться с Жаклин и просидеть дома ненавистный вечер, возненавидев под конец ее самое? Или лучше извиниться и пойти? Нужно ли сказать правду и пойти? Я не имею права делать все, что мне вздумается, ведь отношения — это всегда какой-то компромисс. Давать и брать. Может быть, я не хочу сидеть завтра вечером дома, а она, напротив, хочет. Да мне следовало бы этому радоваться. Мы станем сильнее от этого — сильнее и чутче. Такие мысли пронеслись у меня в голове, а Жаклин спала рядом, и если у нее и были какие-то страхи, то они не нарушали ее спокойного сна. Она безмятежно раскинулась на кровати, где мы провели вместе столько ночей. Неужто я оскверню наше ложе предательством?

Поутру настроение у меня препаршивейшее, нет никаких сил. Жаклин, жизнерадостная как всегда, заводит свою малолитражку и уезжает к матери. В полдень звонит отменить наш домашний вечер вдвоем. Ее мать нездорова, и она собирается остаться у нее.

— Конечно, Жаклин! — отвечаю я. — Оставайся. Увидимся завтра.

Ощущение свободы и собственной добродетели переполняет меня. Теперь можно спокойно посидеть в собственной квартире и трезво все обдумать. Иногда ваш лучший друг — вы сами.

Во время антракта «Женитьбы Фигаро» я замечаю, как часто на Луизу посматривают другие. Со всех сторон нас окружают золотые цепочки и сверкающие блестками платья. Их обладательницы носят драгоценности, как медали. Им, как Фигаро, все нипочем — новый муж здесь, бывший муж там, просто палимпсест былых романов. Колье, броши, кольца, диадемы, усыпанные бриллиантами часики, на которых время можно разглядеть лишь через увеличительное стекло. Браслеты, цепочки, вуалетки с мелким жемчугом, серьги в количестве, намного превосходящем количество ушей. Драгоценности двигаются в сопровождении серых пиджаков и бьющих на эффект пятнистых галстуков. Луиза проходит — и галстуки дергаются, а пиджаки нервно встряхиваются. Дамы предостерегающе посверкивают драгоценностями при виде ее обнаженной шеи. На Луизе — скромное платье зеленого шелка, а из украшений только пара нефритовых сережек и обручальное кольцо на пальце. Я напоминаю себе: «Никогда не забывай об обручальном кольце. Как только заподозришь, что влюбляешься, вспомни, что жар этого расплавленного кольца сожжет тебя дотла».

— Что ты там рассматриваешь? — спросила Луиза.

— Что за идиотизм! — сказал мой друг. — Опять замужняя!

Мы с Луизой обсуждали Эльджина.

— Он из ортодоксальной еврейской семьи, — сказала она, — поэтому в нем сочетаются чувство собственного превосходства и комплекс неполноценности.

Родители Эльджина до сих пор жили в домике 30-х годов на две семьи в Стемфорд-Хилле. Во времена Второй мировой они незаконно вселились в квартиру, где обитали кокни. Хозяева, вернувшись в один прекрасный вечер домой, обнаружили, что дом заперт, замки другие, а на парадной двери красуется табличка «ШАБАТ. НЕ БЕСПОКОИТЬ!» Это было в ночь на субботу 1946 года. В ночь на воскресенье того же года Арнольд и Бетти Смолл встретились лицом к лицу с Исавом и Сарой Розенталь. Деньги или, если точнее, некоторое количество золота, перешли из рук в руки, и Смоллы отчалили вершить крутые дела, а Розентали открыли аптеку, категорически отказываясь примкнуть к традиционалистам или реформаторам.

— Мы — избранный богом народ! — говорили они, подразумевая самих себя.

Вот такой сплав смирения и гордыни был в крови у Эльджина. Родители намеревались назвать его Самуилом, однако во время беременности Сара ходила в Британский музей. Там ей запали в душу шедевры античной Греции, а вот египетские мумии оставили равнодушной. Все это могло бы и не иметь никакого отношения к судьбе ее сына, если бы не серьезные осложнения при четырнадцатичасовых родах. Мечась по подушке в бреду она бессвязно бормотала и бесконечно повторяла одно-единственное слово: «Эльджин!»⁴ Осунувшийся от волнения и страха Исав, стоявший рядом, теребя талес под черным пальто, был суеверен. Раз таково последнее слово жены, значит оно должно что-то означать. Так слово обрело плоть: Самуил превратился в Эльджина, однако Сара не умерла. Она за долгую жизнь наготовила, наверное, не менее тысячи галлонов куриного бульона. Каждый раз, разливая суп по тарелкам, она не забывала добавить: «Эльджин, Иегова спас меня, чтобы я служила тебе».

Итак, Эльджин рос, думая, что мир предназначен служить ему, и ненавидя темный прилавок отцовской лавчонки. Больше всего на свете он мечтал быть таким, как все дети, и страдал от того, что отличается от других.

— Ты — ничто! Ты — прах! — поучал его Исав. — Возвысь над собой и станешь человеком.

Эльджин выиграл стипендию одной из независимых школ. Он был маленького роста, узкогруд, близорук и дьявольски умен. На беду, религиозные запреты не позволяли ему участвовать в

⁴ Томас Брюс, 7-й граф Эльджин, британский посол в Турции (1799-1803), вывезший в 1806 г. в Англию мраморные метопы (части фриза) Парфенона. С 1815 г. они находятся в Британском музее.

субботних школьных состязаниях, и хотя травить его не травили, но бойкотировали. А сам он знал, что он гораздо лучше всех этих крутоплечих школьных красавчиков, чьи смазливые рожи и непринужденные манеры обеспечивали любовь и уважение однокашников. Кроме того, все они были педиками: Эльджин часто наблюдал, как они заваливают друг друга — раззявив рты, с членами наизготовку. К нему же прикасаться никто и не пытался.

В Луизу он влюбился, когда она победила его в финальном туре дебатов, проводимых дискуссионным клубом. Ее школа располагалась неподалеку, и по дороге домой он всегда проходил мимо. Эльджин приноровился оказываться там как раз в те часы, когда кончались занятия у Луизы. Он был с нею обходителен, старался не рисоваться и не впадать в сарказм. Она жила в Англии всего год, и ей казалось, что это очень холодная страна. Они оба были беженцами и находили утешение в обществе друг друга. Потом Эльджин поступил в Кембридж, выбрав колледж, отличавшийся своими спортивными достижениями. Луиза, поступившая туда годом позже, уже тогда начала подозревать, что он мазохист. Это подтвердилось, когда он, лежа на своей узкой койке, развел в стороны ноги и попросил ее зажать его пенис в тиски.

— Я должен это вынести, — сказал он. — Я собираюсь стать врачом.

Тем временем, запершись в своем доме в Стемфорд-Хилле, Исав и Сара провели всю субботу в молитве, задаваясь вопросом, какая судьба ожидает их сына, попавшего в лапы огненно-рыжей искусительницы.

— Она разрушит его жизнь, — изрек Исав. — Он обречен. Мы все обречены.

— О, мой мальчик, мой родной, — причитала Сара. — В нем же только пять футов семь дюймов.

Они не поехали на гражданскую свадьбу в Кембридж. Да и как могли они поехать, когда Эльджин назначил ее на субботу? Луиза была в просторном шелковом платье цвета слоновой кости, а в огненно-рыжих волосах сверкала серебряная лента. Ее лучшая подруга Дженет держала кольца и фотоаппарат. Присутствовал также лучший друг Эльджина — его имя потом он припомнить никак не мог. На Эльджине был взятый напрокат темный костюм, который ему страшно жал.

— Понимаешь, — объясняла Луиза, — я знала, что с ним мне ничто не грозит. Я могла его контролировать, помыкать им.

— А как насчет него самого? Что думал он?

— Он знал, что я красива, и что это ценится. Ему хотелось иметь при себе нечто эффектное, но не вульгарное. Он мог теперь хвастать на людях: «Смотрите, что у меня есть!»

Я думаю об Эльджине. Он очень умен, очень богат, но невыносимо скучен. Луиза же могла очаровать кого угодно. Она привлекала к нему внимание, обеспечивала его контактами, а также готовила, украшала, была умницей, а к тому же еще и красавицей. Сам Эльджин был начисто лишен светского лоска и крайне неловок в общении. Кроме того, коллеги относились к нему с легким налетом антисемитизма. Это были в основном его ровесники, с которыми он учился и которых в глубине души презирал. Конечно, среди его знакомых попадались и евреи, однако то были люди из очень культурных семей, вполне преуспевающие в жизни, с широкими взглядами. Никто из них не был ортодоксом из Стемфорд-Хилла, где между вами и газовой камерой — лишь чужая квартира. Эльджин никогда не говорил о своем прошлом, и временами, особенно когда Луиза была под боком, казалось, оно не имеет для него никакого значения. Он тоже выглядел преуспевающим и культурным: ходил в оперу и покупал антиквариат, рассказывал еврейские анекдоты и даже избавился от акцента. Когда Луиза говорила, что он не должен забывать своих родителей, он посылал им к Рождеству открытки.

— Это все она! — угрюмо говорил Исав, стоя за своим темным прилавком. — Все женщины прокляты со времен Евы!

А Сара, полируя, сортируя, штопая и подавая, чувствовала проклятье своего народа и все больше погружалась в него.

— Привет, Эльджин! — здороваюсь я, когда он возникает на пороге кухни, одетый по-домашнему — в темно-синих вельветовых брюках (среднего размера) и свободной рубашке навыпуск (размера поменьше). Он прислоняется к плите и обрушивает на меня целый град вопросов. Это его любимый способ общения — подразумевалось, что так он не выставляет себя на первый план.

Луиза возилась с овощами.

— Эльджин уезжает на той неделе, — отсекала она его словесный поток так же точно, как он отсекал бы трахею.

— Верно-верно! — довольный, подтвердил он. — Читаю доклад в Вашингтон. Тебе не приходилось

бывать в Вашингтоне?

Во вторник, двенадцатого мая, в 10.40 утра самолет «Бритиш Эйруэйз» оторвался от взлетной полосы и взял курс на Вашингтон. В салоне первого класса Эльджин с бокалом шампанского в руке и наушниками на голове слушает Вагнера. Бай-бай, Эльджин!

Вторник, двенадцатое мая, час дня. Тук-тук.

— Кто там?

— Привет, Луиза!

Она улыбается.

— Как раз к ланчу!

А пицца сексуальна? В «Плейбое» пишут то о спарже, то о бананах, кабачках и луке-порее, или как здорово намазаться медом или шоколадным мороженым. Мне как-то раз взбрело в голову купить специальное эротическое масло для тела с натуральным запахом пинья-колады и намазаться им, но у моей подружки сыпь на языке вылезла.

Еще советуют ужины при свечах: это когда скалящиеся официанты в жилетках волокут вам немислимых размеров блюда с мясом и острыми приправами. Рекомендуют также пикники на пляже — это помогает, если вы и так влюблены, поскольку иначе вы терпеть не можете сыр-бри с песочком. В общем, до тех пор пока мне не довелось есть за одним столом с Луизой, мне казалось, что все, или почти все, зависит от обстановки.

Когда Луиза поднесла ложку ко рту, меня охватило страстное желание стать невинным кусочком нержавеющей стали. Мне хотелось занять место любого овоща, вареной морковки, вермишели, чего угодно, только бы ты взяла меня в рот. Меня снедала зависть к французской булке. Луиза отламывала каждый кусочек, намазывала его маслом, обмакивала в подливку, давала поплавать немного в тарелке, пока не пропитается и не потяжелеет, пока темно-красный вес не начнет утягивать его на дно, а затем великое наслаждение ее зубов вновь воскрешало его.

Картошка, помидоры, сельдерей — ко всему этому она прикасалась... Глотая суп, я жажду попробовать ее кожу. Она в масле или луке, в дольке чеснока... Я знаю, что она плюет на сковороду, чтобы определить, достаточно ли разогрето масло. Нормальный способ, почти все повара так делают — или делали раньше. И потому когда она перечисляет мне, из чего состоит суп, я понимаю, что она упустила из виду самый главный ингредиент. Я узнаю твой вкус хотя бы по тому, что ты мне приготовишь.

Она разломила грушу — груши росли у нее в саду. На месте ее дома когда-то находился большой фруктовый сад, и ее дереву было двести двадцать лет. Старше Французской революции. Вордсворт или Наполеон, к примеру, могли лакомиться их плодами. Интересно, кто ходил тогда в этот сад, кто собирал урожай с этих деревьев? Их сердца трепетали, подобно моему? Луиза предложила мне половину груши и кусок пармезана. Эти груши наверняка многое видели на своем веку — вернее, они-то стояли на месте, а века смотрели на них. Каждый кусок плодов их — как взрыв войны и страсти. А в косточках и лягушачье-зеленой кожице — сама история.

Клейкий сок течет Луизе на подбородок, и прежде, чем я успеваю предложить свою помощь, она вытирает его салфеткой. Я жадно смотрю на салфетку. Могу ли я ее стянуть? Моя рука тем временем уже крадется по скатерти, как нечто из Эдгара По. Луиза прикасается ко мне, и я вздрагиваю.

— Я тебя поцарапала? — озабоченно и смущенно спрашивает она.

— О, нет, ты всего лишь ударила меня током.

Она встала и начала готовить кофе. Англичанкам очень здорово удаются такие жесты.

— У нас с тобой будет роман? — спрашивает она.

Нет, она не англичанка, она из Австралии.

— Нет-нет, — отвечаю я. — Ты ведь замужем, а у меня Жаклин. Мы будем с тобой друзьями.

— Мы и так друзья.

Да, мы уже друзья, и самое большое удовольствие для меня — проводить целые дни, болтая с тобой о вещах серьезных и о всякой чепухе. Мне бы хотелось мыть посуду рядом с тобой, или убирать вместе с тобой, или читать половину газеты, пока ты читаешь другую. Мы друзья, и мне будет не хватать тебя, мне уже не хватает тебя, и я думаю о тебе очень часто. Мне не хочется терять

это счастливое пространство, где живет человек умный и легкий, которому не нужно перед свиданием сверяться с ежедневником. Всю дорогу домой я твержу себе это, и такие мысли — прочная мостовая у меня под ногами, ровно постриженные изгороди, магазин на углу и малолитражка Жаклин. Все как положено: любовница, друг, жизнь, круг общения. Дома чашки стоят на тех же самых местах, где мы с Жаклин оставили их утром, и я не глядя могу сказать, где висит ее пижама. Мне раньше казалось, что Христос не прав и невероятно суров, утверждая, что прелюбодеяние в сердце — грех не меньший, чем прелюбодеяние настоящее. Но теперь, посреди столь привычного и нерушимого пространства, я осознаю, что мой мир и мир Жаклин уже изменились. Только она еще этого не знает. Карта нашего мира переключена. Территория, которую она привыкла считать своей, уже аннексирована. Вы ведь никогда не отдаете навсегда свое сердце, вы лишь даете его взаймы на время. Иначе как можно получить его обратно без разрешения?

Мне везет, и я провожу спокойно весь вечер. Никто меня не тревожит, я могу себе пить горячий чай, сидя в знакомом кресле, и надеяться, что мудрость предметов вразумит меня. В окружении столь родных и привычных книг, стульев, стола я наверняка осознаю необходимость не двигаться с места. Слишком много эмоциональных скитаний. Разве не хотелось мне возвести вокруг себя ограду, залезть раны и набраться сил? Луиза же может ее разрушить.

Ох, нет, Луиза, вру я. Я боюсь не тебя, а себя. И вся моя нынешняя, заслуженная жизнь ничего не значит. Часы тикают. Сколько времени еще осталось до того, как начнутся крики и обвинения? Слезы и боль? Такая весьма характерная боль от камня в желудке, когда вы теряете нечто, что никогда всерьез не ценили. Почему любовь должна измеряться утратой?

Такие мысли и предчувствия — отнюдь не редкость, но признаться в них — все равно что прорубить единственный выход. Великое оправдание страсти: ах, у меня не было выбора, ах, меня захватило чувство. Некие силы якобы хватают вас и несут, и овладевают вами, но сейчас это все в прошлом, и вы не понимаете, как это могло случиться и т.д. и т.п. И как бы вам хотелось начать все сначала и т.д. и т.п. И прости меня, дорогая... В конце двадцатого столетия вы все еще призываете демонов прошлого, чтобы объяснить самые тривиальные поступки. Измена — очень обычный поступок. Совсем не редкая драгоценность, но почему-то на личном уровне каждый объясняет ее так, будто речь идет о неопознанных летающих объектах. Не хочу больше так лгать себе. Да, всю жизнь мне приходилось обманывать себя, но больше я этого не хочу. Я точно знаю, что происходит, и знаю также, что выпрыгиваю из этого самолета по собственной воле. Нет, у меня нет парашюта, и что еще хуже — его нет и у Жаклин. А когда прыгаешь, лучше брать его с собой.

Я отрезаю кусочек кекса с изюмом. Если сомневаешься — ешь. Понимаю я тех, кому холодильник с его содержимым заменяет любого социального работника. Лично я исповедальнее всегда предпочту стаканчик неразбавленного виски, но не раньше пяти. Может быть, поэтому все мои душевные кризисы приходятся на вечернее время? Ну, хорошо, пока еще только половина пятого, и я довольствуюсь кексом и чашкой чая, но вместо того, чтобы немного прийти в себя, я мысленно все время прихожу к Луизе. Все из-за еды. Вряд ли есть что-либо менее романтическое, чем поднимающееся дрожжевое тесто, но его запах возбуждает меня сильнее, чем любые плейбойские бананы. Итак, это вопрос времени. Будет ли благороднее с моей стороны подождать неделю, прежде чем я уйду? Или лучше забрать зубную щетку прямо сейчас? Я тону в неизбежности.

Я звоню другу посоветоваться, и он советует мне сыграть в морячка: у них жены в каждом порту. Что будет, если я признаюсь Жаклин — разрушу все, но ради чего? Признавшись, я могу глубоко ранить ее чувства, а разве я имею на это право? И кто его знает, может, у меня просто этакая собачья течка, а через две недели я приду в норму, выброшу все это из головы и вернусь в родные пенаты.

Здравый смысл. Благоразумие. Хорошая собачка.

А если погадать на чайниках? Ничего, кроме заглавной буквы «Л»!

Жаклин возвращается, я целую ее и говорю:

— Мне хотелось бы, чтоб от тебя не пахло зоопарком.

Она удивлена.

— Но что я могу сделать? В зоопарке всегда запах!

Однако немедленно идет в душ. Я наливаю ей выпить, думая про себя, до чего мне не нравится ее одежда и ее манера вечно включать радио, как только приходит.

С кислой миной я занимаюсь нашим ужином. Что будем делать сегодня вечером? Я чувствую себя разбойником, что прячет пистолет за щекой. Стоит начать говорить, как я непременно все выложу. Лучше просто молчать. Есть, улыбаться, во всем уступать Жаклин. Верно ведь?

Звонит телефон. Я бросаюсь на трубку, как зверь на добычу, и запираюсь с аппаратом в спальне. Это Луиза.

— Приходи завтра, — говорит она. — Я хочу тебе кое-что сказать.

— Луиза, если ты насчет того, о чем мы говорили, то я не могу... понимаешь, я думаю, что нет.

Потому что, ну, ты понимаешь...

В трубке щелкнуло, и телефон умолк. Я смотрю на него таким взглядом, какой был у Лорен Баколл в фильмах, где она играла вместе с Хамфри Богартом. Не хватает только авто с откидной подножкой и пары противотуманных фар — тогда можно было бы через десять минут оказаться у Луизы. Проблема в том, что к моим услугам лишь малолитражка, принадлежащая моей подруге.

Мы жуем спагетти. В голове — одна мысль: пока ее имя не произнесено, со мной все будет в порядке. Затеяв эту игру, я сверяюсь с циферблатом часов: сколько мне уже удалось продержаться. Циферблат корчит скептическую мину. Что со мной творится? Я как двоечник перед экзаменационным листком с вопросами, а ответы заведомо неизвестны. Хоть бы часы быстрее шли! Хоть бы поскорее отсюда уйти! В девять я сообщаю Жаклин, что умираю от усталости. Она гладит меня по руке, но я ничего не чувствую. Позже, когда мы уже лежим бок о бок в своих пижамах, я плотно сжимаю губы, а мои щеки Наверное раздулись, как у хомячка, потому что во рту у меня — лишь имя «Луиза».

Не надо объяснять вам, куда я направляюсь на следующий день.

В ту ночь мне приснился мрачный сон про одну мою бывшую подружку, которая всерьез увлеклась папье-маше. Началось как хобби, и кто стал бы возражать против небольших ведерок с водой и мукой, да мотков тонкой проволоки? У меня широкие взгляды, и я за свободу самовыражения. И вот подхожу я в один прекрасный день к ее дому и вижу, как из щели почтового ящика, как раз на уровне промежности высовывается здоровая желто-зеленая змеиная голова. Нет, не настоящая, конечно, но очень натуральная, с красным язычком и зубами из серебряной фольги. Я медлю в нерешительности, прежде чем нажать на звонок: дотянуться до звонка можно, только прижавшись к голове змеюки очень личной частью моего тела. В голове у меня происходит следующий диалог:

Мне: Не валяй дурака! Это просто шутка.

Я: Что значит шутка? Жуть какая!

Мне: Но ведь зубы не настоящие.

Я: Чтобы сделать больно, не обязательны настоящие зубы.

Мне: Что она подумает о тебе, если ты так и будешь топтаться на пороге весь вечер?

Я: Интересно, что она вообще обо мне думает? Что она за девчонка, если ей нравится воображать змею у моих гениталий?

Мне: Девчонка, любящая пошутить.

Я: Ха-ха.

Тут дверь распахивается, и на пороге возникает Эми. На ней кафтан, а на шее болтаются длинные бусы.

— Не обижайся, — заявляет она. — Это для почтальона. Он меня уже достал.

— Сомневаюсь, что его отпугнет змея, — отвечаю я. — Ведь это просто игрушка. Меня, например, она совсем не испугала.

— Тебе нечего пугаться, — повторяет она. — У нее в челюстях всего лишь мышеловка.

Эми куда-то испаряется, а я топчусь на ступеньках, сжимая в руке бутылку «Божоле Нуво». Эми возвращается с пучком зеленого лука и сует его в змеиную пасть. Раздается чудовищный хруст, и нижняя часть пучка падает на половику.

— Захвати его с собой, — говорит она. — Потом съедим.

Я просыпаюсь в холодном поту. Жаклин мирно посапывает у меня под боком, тоненький лучик

света просачивается сквозь старые занавески. Закутавшись в халат, я выхожу в сад — мне хочется ощутить под босыми ногами влажную землю. Воздух чистый, с привкусом дневного тепла, небо расчерчено розовыми царапинами. Приятно сознавать, что лишь я дышу воздухом в этот час. Меня подавляет мысль о том, что в городе миллионы легких делают безостановочный вдох-выдох вокруг меня. Нас стало слишком много на планете, и это уже сказывается. Шторы в окнах у соседей наглухо закрыты. Интересно, какие им снятся сны? Бывают ли у них кошмары? Они должны выглядеть сейчас совсем иначе, чем днем — расслабленные, с полуоткрытыми ртами, со сползшими с кроватей одеялами. Возможно, мы могли бы сказать сейчас друг другу что-то еще, кроме заезженного «доброе утра».

Я иду полюбоваться на свои подсолнухи. Они росли дружно, уверенные в том, что каждому хватит солнца, каждый сможет стать таким, как нужно в подобающий момент. Мало кто из людей добивается того же, чего добивается природа без особых усилий и практически без осечки. Мы не знаем, кто мы такие и как нам надо функционировать, тем более не догадываемся о том, как правильно цвести. Слепая природа! Ното sapiens! Кто и кого дурачит?

И что же мне делать? — обращаюсь я к малиновкам, гнездящимся на стене. Малиновки — очень верные создания. Каждый год они празднуют свадьбы теми же парами, что и раньше. Мне нравится вызывающе красный герб у них на груди, как смело они бросаются за червяками прямо под мою лопату. Всякий раз, когда я копаюсь в саду, маленькие птички разделяются с вредителями. Ното sapiens. Слепая природа.

Я ощущаю собственную беспомощность. Почему, интересно, такое существо, как человек, не обеспечено каким-нибудь специальным приспособлением для разрешения нравственных вопросов?

В моих проблемах нет ничего необычного:

1. Я люблю женщину, которая замужем.
2. Она полюбила меня.
3. У меня есть моральные обязательства перед другим человеком.
4. Как мне узнать, надо ли стремиться к Луизе всей душой или, напротив, всячески ее избегать?

Мне могла бы все объяснить церковь, мне пытались помочь друзья, можно было бы взять курс на стоическое воздержание и сбежать от соблазна или наоборот поставить паруса и ловить попутный ветер.

Впервые в жизни я хочу поступить правильно, я хочу поступить верно, а не идти на поводу у своих желаний. Наверное, за это спасибо Вирсавии...

Вспоминаю, как она пришла ко мне вскоре после своего возвращения из Южной Африки. Перед ее отъездом ей было выставлено условие: либо он, либо я. Ее глаза, что часто наполнились слезами жалости к себе, глядели на меня с укором за еще один любовный захват. Она все-таки пообещала принять решение, и оно оказалось не в мою пользу. Ладно. Прошло полтора месяца. В сказке про Румпельштильцхена мельникову дочку запирают в подвал, полный соломы. Назавтра ей надо перепрясть солому в золотую пряжу. Вирсавия одарила меня лишь охапками соломы, но когда она была со мной, мне казалось, что данные ею обещания высечены в драгоценном камне. После ее отъезда мне пришлось долго разгребать солому и выметать мусор. И тут вдруг появляется она и как ни в чем не бывало, не помня о своем обещании, мило осведомляется, почему я ей не звоню по межгороду и не отвечаю на ее открытки до востребования.

— Мы уже все выяснили.

Она просидела у меня в молчании почти пятнадцать минут, но мне удалось ни разу не шелохнуться, намертво обхватив ногами кухонную табуретку. Тогда она спросила, есть ли у меня кто-нибудь. Мое «да» было коротким, туманным и двусмысленным.

Она кивнула и повернулась к выходу. Подойдя к дверям, вдруг обернулась:

— Да, я хотела тебя предупредить перед нашим отъездом, да забыла.

Мой взгляд был быстрым и, наверное, враждебным. Мне было тошно слышать это ее «нашим».

— Да, — продолжила она, — Урия подхватил триппер у женщины, с которой он переспал в Нью-Йорке. Ну, он конечно, переспал с ней, просто чтобы отомстить мне. Но ничего не сказал, и врач думает, я тоже его подхватила. Но я пила антибиотики, так что, возможно, все в порядке. Я хочу сказать, и с тобой, возможно, все порядке. Но все-таки нужно провериться.

В руках у меня вдруг оказалась оторванная ножка табуретки. Хотелось хорошенько вмазать по ее раскрашенной физиономии.

— Ты дерьмо!

— Не надо так!

— Ты ведь клялась, что не спишь с ним больше!

— Я подумала потом, что это будет несправедливо. Мне не хотелось разрушать до конца то небольшое сексуальное доверие, которое у нас с ним было.

— Именно поэтому ты просто не потрудились сообщить ему, что он не знает, как заставить тебя кончить.

Она не ответила. Теперь она пустила слезу, но для меня слезы ее были слишком жиденькими. Атака началась по всем фронтам:

— Как долго вы женаты? Брак, образцовый во всех отношениях. Десять лет? Двенадцать? И ты не можешь попросить его сунуть голову тебе между ног, поскольку считаешь, что он найдет это безвкусным? И ты еще говоришь о каком-то сексуальном доверии?

— Прекрати! — Она оттолкнула меня. — Мне надо домой.

— Семь вечера! Пора возвращаться домой! Ну, конечно! Отвалить с работы пораньше, успеть потрахаться часа полтора, расслабиться, чтобы с улыбкой появиться на пороге: «Здравствуй, милый», — и заняться стиркой к ужину?

— Кончай, дай мне пройти! — сказала она.

— Да уж, «кончай»! Со мной ты кончала, и когда у тебя были месячные, и вымотанная, и усталая! Я-то знаю, как заставить тебя кончить!

— Не думаю, что дело было только в тебе. Нам было хорошо вместе. Я тогда возбуждала тебя.

— Да, возбуждала! И что самое нелепое, возбуждаешь до сих пор!

Она взглянула на меня:

— Ты отвезешь меня домой?

Тот вечер я до сих пор вспоминаю со стыдом и отвращением. Нет, мне не пришлось отвезти ее домой. Но мы прошли по темным улицам почти до ее дома — только шуршал на ней плащ, да дипломат хлопал по ноге. Она, как Дирк Богард, так гордилась своим профилем, а тусклый свет фонарей еще больше усиливал эффект. Мы простились с ней там, где она без опаски могла добраться до своих дверей, и несколько секунд еще слышался стук ее каблуков. Но вот шаги смолкли. Она остановилась. Так было всякий раз: она поправляет макияж, прическу, стряхивает всякое воспоминание обо мне с себя и со своей одежды. Скрип калитки, лязг ключа в замке. Теперь они оба в квадрате четырех стен, делят друг с другом все, включая болезнь.

По пути домой мне приходилось дышать очень глубоко — меня трясло и не отпускало. Вина ведь не только на ней, но и на мне. Не позволь я этому случиться, не вступи в сговор с обманом, не сожги собственную гордость, ничего бы и не было, разве нет? Я — ничто, я — кусок говна, я заслуживаю Вирсавии. Самоуважение. Да этому только в армии учат. Наверное, там мне и место. А в графе «Личные интересы» на призывном участке написать: «разбитое сердце»...

На следующий день, в клинике дурных болезней, моему взору предстали собратья по несчастью. Там были и парни «мне-все-нипочем», и разжиревшие бизнесмены, прячущие под короткими пиджаками выпуклый животик. Разумеется, там были уличные девицы, но и другие, обычные женщины, тоже. Женщины, с глазами полными страха и стыда. Что же это за гнусное место? Почему никто не предупредил их? «Кто тебя этим наградил, лапочка?» — хотелось мне спросить у женщины средних лет в летнем ситцевом платье. Она долго рассматривала стенд с плакатами о гонорее, а потом попробовала сосредоточиться на своем журнале «Сельская жизнь». «Да разведись ты с ним! — хотелось крикнуть мне. — Думаешь, он тебе впервые изменил?» Тут ее позвали, и она скрылась в унылом белом кабинете. Приемная могла бы получить приз в конкурсе на лучшее преддверие Страшного суда: бачок с кофейной жижей, ободранные больничные банкетки, пластиковые цветы в пластиковых горшках и повсюду на стенах, снизу доверху — выцветшие плакаты и вырезки с изображением всевозможных заболеваний половых органов и мутных выделений. Впечатляет, сколько дряни может поместиться на столь небольшом количестве плоти.

Ах, Вирсавия, как это не похоже на элегантную обстановку твоего кабинета. Там, где частные пациенты могут удалять зубы под музыку Вивальди и наслаждаться двадцатью минутами заслуженного отдыха на удобном диване. Где всегда свежие цветы благоухают в красивых вазах, а ты угощаешь ароматным травяным чаем. Когда ты прижимаешь головы пациентов к своей груди, им не страшен ни шприц, ни игла, даже твой белый халат больше не пугает их. Мне нужна была лишь коронка, но ты одарила меня королевской короной. К сожалению, право владеть ею было мне предоставлено только с пяти до семи вечера в будни, да еще в те редкие выходные, когда он уходил играть в футбол.

Меня вызвали.

— Нашли?

Медсестра посмотрела на меня с выражением смертельной скуки:

— Нет.

Затем принялась заполнять формуляр и сообщила, что мне нужно прийти еще раз через три месяца.

— Зачем?

— Болезни, передающиеся половым путем, обычно не являются случайностью. Если ваши привычки таковы, что вы подхватили заболевание один раз, то вполне возможно, что вы заразитесь и еще. — Она замолкла, а потом добавила: — Мы все — рабы привычек.

— Но у меня же нет никакого заболевания.

Она открыла дверь.

— Трех месяцев будет вполне достаточно.

Достаточно для чего? Мой путь по больничному коридору пролегал мимо табличек: «Хирургия», «Мать и дитя», «Амбулаторные больные». Характерно, что отделение дурных болезней расположено так, что страждущим добраться до него непросто. Плутая по хитрым лабиринтам, несчастный грешник должен по крайней мере раз пять спросить, где оно находится. Мои попытки понизить голос во время расспросов, особенно в непосредственной близости от «Матери и дитяти», не производили на персонал ни малейшего впечатления.

— Венерические болезни? — прогремел у меня над ухом медбрат, остановив тележку с грязными простынями в аккурат на моей ноге. — До конца коридора направо, налево, прямо через вход позади лифта, вверх по ступенькам, вдоль по коридору, завернуть за угол, через вращающуюся дверь, и вы будете на месте...

— Вы сказали ВЕНЕРИЧЕСКИЕ? — Да, именно так было сказано, и пришлось повторить это еще раз молодому доктору из амбулатории, легкомысленно крутившему в руках стетоскоп. — Как пройти? Никаких проблем! Отсюда пять минут на носилках. Самый прямой путь — через крематорий.

Он расплылся в улыбке, как подтаявшее мороженое, и махнул в сторону дымящей трубы.

— Счастливого пути!

Может, все дело в моем лице. Наверное, сегодня оно напоминает половую тряпку. А я себя чувствую так, точно ее к тому же выжали.

На обратном пути мне пришло в голову купить себе огромный букет цветов.

— Идете в гости? — Голос девушки-продавщицы изогнулся вверх, точно пола больничного халата. Ей было смертельно скучно от того, что приходится быть любезной в этой щели между папоротниками, да еще с мокрыми руками, с которых капает зеленая вода.

— Да, к себе. Хочу выяснить, все ли у меня дома.

Она подняла брови и пропищала:

— С вами все в порядке?

— Должно быть. — Красная гвоздика перекочевала из моего букета в ее мокрые руки.

Вечер. Цветы поставлены в вазу, постелены чистые простыни, свет погашен. «Что ж, значит, от Вирсавии мне достался только ровный ряд починенных зубов».

— Чтобы лучше было кушать, — сказал Волк.

Самое лучшее — взять баллончик с краской и написать на двери: «САМОУВАЖЕНИЕ».

И пусть Купидон только попробует сунуться.

Когда я прихожу, Луиза завтракает. На ней великолепно свободный халатик в гвардейскую красно-зеленую полоску. Распущенные волосы мягко окутывают шею и плечи, ниспадая на скатерть и поблескивая в тонких лучиках света. В Луизе всегда чувствовалось что-то электризирующее, напряженное и опасное. Ровный свет, горевший в ней, питался, как я подозреваю, более невесомыми токами. На первый взгляд, она казалась спокойной, но за этим внешним покоем дремала мощная разрушительная сила, которая заставляла меня нервничать каждый раз, когда приходилось переступать порог ее дома. Она больше — викторианская героиня, чем современная женщина. В ней что-то от героини готического романа — полновластной повелительницы замка, которая способна вдруг поджечь его и скрыться в ночи с одним узелком в руках. Мне всегда казалось, что она должна носить на поясе связку ключей. Ее собранность и деловитость напоминали мне дремлющий, но отнюдь не потухший вулкан. Иногда мне приходило в голову, что если Луиза вулкан, то я могу

оказаться Помпеями.

Я не вхожу в дом сразу, а, спрятавшись снаружи, наблюдаю, подняв воротник. Мелькает мысль, что если она вызовет полицию, то я только того и заслуживаю. Но полицию она не вызвала. Взяла свой револьвер с перламутровой инкрустацией на рукоятке из стеклянной вазы и поразила меня выстрелом прямо в сердце. При вскрытии обнаружили расширившееся сердце и тонкие кишки.

Белая скатерть, коричневый заварник. Хромированный тостер и ножи с серебряными лезвиями. Обычные вещи. Я смотрю, как она берет их и ставит на место, быстро вытирая руки о краешек скатерти, — на людях она так никогда не делает. Она ела яйцо, на ее тарелке скорлупа, а вот сейчас она слизывает масло с кончика ножа. Все, доела и ушла в ванную, кухня опустела. Без Луизы кухня выглядит глупо.

В дом проникнуть легко — дверь не заперта. Я чувствую себя как вор, что собирает в мешок взгляды украдкой. Такое странное чувство — находиться в чужой комнате, когда там никого нет. Особенно, когда любишь этого человека. Каждая вещь получает особое значение. Почему она купила это? Что ей вообще нравится? Почему ей лучше сидеть на этом стуле, а не на том? Комната представляется шифром, который надо разгадать за несколько отведенных минут. Как только она вернется, все внимание будет приковано к ней, а кроме того, на обстановку пялиться неприлично. Мне безумно хотелось выдвинуть все ящики и провести пальцем по всем пыльным рамам картин. Вдруг я смогу найти ключ к твоей тайне в кладовой, или в мусорной корзине? Тогда я сумею разгадать тебя, распутать нити, пропустить их между пальцами, чтобы измерить всю твою душу. Меня одолело смешное и нестерпимое желание стащить что-то из твоей комнаты. Поверь, у меня вовсе не было намерения воровать твои ложки, хотя они очаровательны, с эдвардианским сапожком на ручке. Почему же я все-таки сую их к себе в карман? «Немедленно положи на место», — строго говорит наставница-совесть. Я принуждаю себя вернуть их в ящик, хотя когда дело доходит до чайной ложечки, приходится выдержать серьезную внутреннюю борьбу. Присев, я пытаюсь сосредоточиться. Прямо перед моими глазами оказывается корзина с бельем для стирки. Нет, только не грязное белье... пожалуйста!

Я не отношусь к тем, кто любит нюхать испачканное белье. Мне никогда не приходилось тайком запихивать во внутренние карманы ничьи трусики. У меня такие знакомые имелись, и меня приводила в восхищение их ловкость. Как они умудряются спокойно сидеть на заседании, засунув в один карман свой белоснежный носовой платок, а в другой — чьи-то панталончики? Разве можно точно знать, что не перепутаешь, что где? Я замороженно смотрю на корзину для белья, как неудачливый заклинатель змей.

Не успеваю я подняться, как в дверях возникает Луиза. Волосы после душа зачесаны наверх и скреплены черепаховой заколкой. От нее исходит приятный лесной аромат мыла. Лицо ее светится любовью. Она протягивает ко мне руки, и я медленно целую ее пальцы, стараясь запомнить каждый сустав. Я жажду не только ее плоти, я хочу ее кости, кровь, сухожилия, ткани — все из чего она состоит. Я хочу держать ее в объятиях тысячу лет, даже тогда, когда от времени истлеют оттенки и текстура ее кожи, а скелет рассыплется в прах. Кто ты, что заставляешь меня испытывать такие чувства? Кто ты такая, для кого время не имеет значения?

Ощущая жар ее объятий, я думаю: «Костер твоих ладоней согреет меня лучше солнца». Мне здесь тепло, уютно, меня кормят, обо мне заботятся. И я буду слышать биение этого пульса отчетливее любых других ритмов. Мир может появиться и исчезнуть в потоке дней, но я здесь, и мое будущее в твоих ладонях.

Она сказала:

— Поднимайся наверх.

Друг за другом мы поднялись на второй этаж, где размещалось что-то вроде студии, а потом еще выше, там ступеньки были уже, а комнаты меньше. Казалось, этому дому не будет конца, и скрипучие дрожащие ступени выведут нас куда-то наружу, за стены. Они привели нас в залитую светом мансарду в башенке. В высоких окнах царило небо, пролетавшие птицы царапали крыльями стекло. Маленькая кровать была застелена лоскутным одеялом. Пол был покатым, в одном месте раной зияла отставшая половица. Неровные хлипкие стены казались живыми, были влажными на ощупь и дрожали при прикосновении. Потоки света, лившегося сквозь разреженный воздух, нагнали створки оконных рам так, что дотронуться было невозможно. Мы чудесным образом выросли в этом маленьком помещении: ты и я могли свободно дотянуться до любого места, от пола до потолка, коснуться любой стенки нашего любовного гнезда. Ты поцеловала меня, и мои губы коснулись аромата твоей кожи.

И что потом? Все, что ты так недавно надела на себя, стало бессознательной грудой на полу, и

неожиданно обнаружилось, что ты носишь нижнюю юбку. Луиза, твое тело было само совершенство. Смогу ли я, еще не познав до конца даже кончиков твоих пальцев, смогу ли я познать в совершенстве эту страну? Интересно, Колумб тоже испытывал такое при виде Америки? Я не мечтаю тобою овладеть, это ты овладела моими мечтами.

Много времени спустя с улицы донесся шум — дети возвращались из школы. Их высокие звонкие голоса проходили через нижние комнаты и, смягчаясь, преобразенные, достигали нашего Приюта Славы. Возможно, мы очутились на той самой крыше мира, где побывал Чосер со своим орлом. Возможно, натиск и давление жизни кончались здесь, и голоса мягко обвивались вокруг стропил тысячекратно шелестящим эхом. Энергия не может исчезнуть, она может только преобразоваться, но куда уходят слова?

— Луиза, я люблю тебя!

Она нежно прикрыла мне рот ладонью и покачала головой.

— Не говори так сейчас. Пока не говори. Ты можешь не думать так на самом деле.

Мои возражения были столь эмоциональными, что сделали бы честь рекламному агенту. Конечно, эта модель — самая лучшая, самая важная чудеснейшая и даже ни с чем ни сравнимая. Существительные в наши дни обесцениваются, если к ним не подбирается пара прилагательных в превосходной степени. Чем больше их, тем неубедительнее звучало. Луиза не отвечала ничего, и речь моя наконец иссякла.

— Я просто хотела сказать, что думать так на самом деле может оказаться для тебя невозможным.

— Но у меня нет семьи.

— И это дает тебе чувство свободы?

— Во всяком случае, у меня больше свободы.

— Но и меньше постоянства. Видишь ли, я сомневаюсь не в том, сможешь ли ты оставить Жаклин, а в том, сможешь ли ты остаться со мной.

— Но я люблю тебя.

— Но ведь у тебя были другие, и вы, в конце концов, расставались.

— Другие не показатель.

— Знаешь, мне не хотелось бы стать просто еще одним скальпом на твоём тотемном столбе.

— Луиза, но ты ведь сама этого хотела.

— Я только пошла на это. А хотели мы вдвоем.

Что все это значит? Мы занялись с ней разок любовью. Мы знакомы лишь несколько месяцев, и она уже начинает выяснять, гожусь ли я для долгой связи? Так я ей и говорю.

— Так это правда, что для тебя я — просто скальп?

Ее слова злят и обескураживают меня.

— Луиза, ведь я не знаю тебя. Мне хотелось разобраться с собой и избежать того, что сегодня произошло. Ты действуешь на меня так, что я этого не понимаю! Я понимаю только, что из-за тебя я теряю контроль над собой.

— Значит, говоря, что ты меня любишь, ты просто пытаешься обрести над собой контроль? Для тебя это просто достаточно привычная стезя — роман, ухаживания, всякие там ураганы страсти.

— Я не хочу контроля.

— Не верю.

Нет так нет! Ты права, что не веришь мне. На самом деле это мелкие уловки. Я встаю с кровати и нашариваю одежду. Она оказалась под ее нижней юбкой. Я беру вместо своей одежды ее юбку.

— Можно мне ее взять с собой?

— Что — охотничий трофей?

В ее глазах стоят слезы. Зря я обижаю ее. И не нужно было рассказывать про моих бывших подружек. В общем, тогда мне хотелось просто посмешить ее, и она правда веселилась. Теперь же у нас на тропе — шипы и колючки. Луиза не доверяет мне. Дружба со мной приятна. Любовная связь — смертельно опасна. Понятно: на ее месте мне бы тоже так казалось. Я опускаюсь на колени перед ней и прижимаюсь грудью к ее ногам.

— Скажи мне, чего ты хочешь, — я все сделаю.

Она гладит меня по голове.

— Я хочу, чтобы мы были вместе и забыли все прошлое. Забудь свою роль. Забудь, что было в других спальнях, с другими. Приди ко мне заново. Никогда не говори, что ты меня любишь, пока не придет день, и ты не докажешь это на деле.

— Но как я смогу это доказать?

— Этого я сказать не могу.

Лабиринт. Пройдите лабиринт, и ваше заветное желание сбудется. Но если вы не пройдете, то застрянете навсегда среди негостеприимных стен. Это что же, испытание? Недаром Луиза напомнила мне героиню готического романа, и дело не только во внешнем сходстве. Похоже, она твердо решила, что я могу заслужить ее благосклонность, лишь полностью порвав со своим прошлым. В мансарде у нее висела картина Бёрн-Джонса «Любовь и паломница». Ангел в светлом одеянии ведет за руку измученную путницу со стоптанными в кровь ногами. Паломница — в черном, край плаща зацепился за острые шипы густых зарослей колючек, из которых они с ангелом только что вышли. Луиза тоже хочет вывести меня? Но желаю ли я, чтобы меня вели за руку? Она права, мне не хочется пока всерьез это обдумывать. У меня и оправдание для этого есть: надо что-то решать с Жаклин.

Идет дождь, когда я покидаю дом Луизы и сажусь в автобус к зоопарку. В автобусе битком, в основном — женщины и дети. Усталые измученные женщины умирят своих перевозбужденных чад. Один ребенок попытался засунуть голову своего брата в портфель, из которого на пол высыпались учебники, и молодая мамаша впала в неистовство. Она готова убить своего ребенка. Почему такая работа не учитывается в графе «рост национального дохода»? «Потому что неизвестно, как можно это посчитать», — отвечают экономисты. Они, наверное, не ездят в автобусе.

Я схожу у главного входа в зоопарк. Парень в проходной будке один, он устало положил ноги на турникет, мокрый ветер хлещет в окошко, и брызги долетают до его портативного телевизора. Он даже не глядит в мою сторону, когда я укрываюсь от мороси под плексигласовым слоном.

— Зоопарк закрывается в десять, — загадочно бормочет парень. — Но после пяти уже никого из начальства.

«Никого из начальства после пяти». Голубая мечта любой секретарши. На пару секунд это меня забавляет, но тут я замечаю Жаклин — она идет к воротам. Берет надвинут, чтоб защититься от мороси. Из хозяйственной сумки, набитой продуктами, торчат стрелки зеленого лука.

— Вечер, дорогуша, — буркает парень, не разжимая губ.

Меня она не замечала. Мне захотелось спрятаться за слоном, а потом неожиданно выскочить и пригласить ее поужинать.

Мне часто тянет на такие романтические фокусы. Это неплохой выход из различных реальных ситуаций. Ну кто пойдет ужинать в половину шестого? Или кому придет в голову предложить романтическую прогулку под дождем, когда вы с набитыми сумками, подобно тысяче озабоченно спешащих пассажиров, направляетесь домой? «Давай-давай, — подбадриваю я себя. — Вперед!»

— Жаклин! (Мой окрик достоин отдела криминальной полиции.)

Она поворачивает голову, лицо ее сияет, она радостно всучивает мне тяжелую сумку и поплотнее кутается в плащ. Идет к автостоянке, рассказывая мне попутно, как прошел сегодняшний день, что-то про кенгуру валлаби — нужно было его успокоить, а знаю ли я, что в зоопарке над ними ставят эксперименты? Им отрубают головы, живым — в интересах науки.

— Но это не в интересах валлаби?

— Нет, конечно. Почему бедные животные должны страдать? Ты ведь не хочешь отрубить мне голову просто так, ради интереса?

Меня передернуло. Она, по-видимому, шутит, но на шутку не похоже.

— Зайдем куда-нибудь выпить кофе и съесть по пирожному.

Я беру ее под руку, и мы, обойдя стоянку, направляемся к чайной, которая обычно обслуживает посетителей зоопарка. Там хорошо, совсем по-домашнему, когда пусто, а сегодня посетителей как раз нет. Зоопарк отдыхает, зверье должно быть благодарно дождю.

— Ты обычно не встречаешь меня с работы, — сказала она.

— Обычно нет.

— Мы что-то празднуем?

— Нет.

Окна целиком покрылись капельками дождя. Ничего не видно.

— Это из-за Луизы?..

Кивок, я нервно кручу в пальцах десертную вилку, колени уперлись в жесткую крышку деревянного кукольного столика. Все как-то негармонично. Мой голос слишком громок, Жаклин — слишком маленькая, а женщина, автоматически выдающая пончики, рискует раздавить стеклянный прилавок, опустив на него мощную грудь. А вдруг она опрокинет пирамиду из шоколадных эклеров, и

всех посетителей забрызгает поддельными сливками? Моя мама всегда говорила, что я плохо кончу.
— Вы с ней видите? — Это испуганный голос Жаклин.

Раздражением меня пробирает до печенок. Хочется зарычать — собака я и есть собака.

«Конечно, мы с ней видимся. Я вижу ее лицо на каждом углу, в каждом закоулке. На каждом заборе, на любой монете в кармане. Вижу ее, когда смотрю на тебя. Вижу ее, когда и не смотрю на тебя».

Конечно же, я не говорю ничего подобного, а начинаю мямлить обычное в таких ситуациях: да, понимаешь, все так изменилось... ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, тупая уловка. Да нет, это я все меняю. Ничто не меняется само по себе, это не времена года — течение событий меняют люди. Есть жертвы перемен — не бывает жертв вещей. Зачем прятаться в хитросплетения слов? Жаклин от этого легче не будет — легче будет только мне. Этим, наверное, я сейчас и занимаюсь.

Она говорит:

— Я-то надеялась на перемены...

— В переменах все и дело, понимаешь?

— Я думала, перемены в тебе уже произошли. Я помню твои слова: что ты не будешь больше так поступать. Что ты хочешь жить по-другому. А мне сделать больно — так легко.

Она говорит правду. Не думаю, что мне удалось бы смириться с чтением утренних газет или возвращением домой к шестичасовым вечерним новостям. Хотя слова мои были искренними, это был обычный самообман.

— Понимаешь, Жаклин, я не хожу снова вокруг да около.

— А что же тогда ты делаешь?

Хороший вопрос. Можно подумать, что некий дух следит за мной с небес и на чистом английском языке объясняет мне, что именно я делаю. Хотелось бы мне иметь уверенность компьютерного программиста, убежденного, что на всякий правильно поставленный вопрос всегда имеется правильный ответ. Почему я не действую по плану? Как глупо это будет звучать, если я признаюсь, что ничего не понимаю, и пожму плечами — эдакое бессмысленное создание, что умудрилось влюбиться и не может объяснить, почему. С моим солидным опытом следует быть в состоянии объяснить, что со мной. Однако в голове у меня вертится одно-единственное имя — Луиза.

На лицо Жаклин падает безжалостный свет мигающей рекламы чайной. Жаклин пытается согреться, обхватив руками чашку, но обжигается, проливает чай, вытирает его крохотной салфеткой и роняет пирожное. Глядя зорко и неодобрительно, но ни слова не говоря, Грудь за прилавком нагибается и немедленно наводит порядок. Ей все равно, она и не такое видала. Ей главное — закрыть чайную через полчаса. Она ретируется за прилавок и врубает радио.

Жаклин протирает очки.

— И что ты собираешься делать?

— Нам вместе надо это решить. Это должно быть совместное решение.

— Иными словами, мы решим, что делать, а потом ты все равно поступишь по-своему.

— Я не знаю, как это — по-моему.

Она кивает и поднимается из-за стола. Пока Грудь за прилавком отсчитывает мне сдачу, она куда-то скрывается. Мне показалось, пошла к машине.

Догнать ее мне не удалось, а автостоянка при зоопарке уже закрыта. Мои попытки справиться с упрямым висячим замком, ухватившись за тонкую проволочную сетку, оказались безуспешными. Эта дождливая майская ночь напоминает скорее февраль, чем нежную весну. Сейчас должно быть тепло и светло, а на самом деле свет сочился только из вытянувшихся в ряд угрюмых фонарей.

Малолитражка Жаклин одиноко мокнет в углу мрачной автостоянки. Глупо, грустно и нелепо.

Мне ничего не остается, как войти в небольшой парк неподалеку и устроиться на сырой скамейке под промокшей ивой. Просторные шорты при нынешней погоде придают мне сходство с каким-то бойскаутом, а их движение всегда мне было чуждо. Хотя порой меня посещала зависть: они всегда точно знали, как совершать героические деяния.

Спокойные изящные домики, выстроенные прямо в парке, смотрели на меня зажженными и погашенными квадратиками окон. Кто-то задергивал занавески, кто-то открывал входную дверь. На миг оттуда донеслась музыка. Нормальная здоровая жизнь. Интересно, случается этим людям бессонными ночами оберегать свое сердце, когда они отдают друг другу свои тела? Почему исчезла эта женщина — ее часы показывают, что пора ложиться спать? Любит ли она своего мужа? Желает ли его? А он — когда видит, как жена расстегивает платье, что чувствует он? Или где-то в другом месте есть иная женщина, которую он желает совсем по-другому?

На ярмарках нередко стоят игровые автоматы, которые называются «Что увидел дворецкий».

Прижимаетесь щекой к мягкой обшивке окуляра, бросаете монету, и перед вами сразу появляется стайка танцующих девчонок, которые подмигивают и задирают юбки. Иногда они успевают снять почти всю одежду, но если вы хотите досмотреть до конца, то должны успеть бросить еще одну монетку в прорезь, прежде чем появится белая перчатка дворецкого и задернет занавес.

Удовольствие от зрелища заключается, помимо очевидного, еще и в жизнеподобии зрелища. Можете представлять себе, что сидите где-то на избранных местах в партере мюзик-холла, среди длинных рядов бархатных кресел, видите перед собой ряды напомаженных мужских голов. Восхитительно, как праздник подросткового непослушания. У меня всегда потом оставалось чувство вины, но то была вина, смешанная с возбуждением, а вовсе не со смертельной тяжестью греха. Именно тогда мне впервые понравилось подглядывать, хоть и довольно скромно. Мне до сих пор нравится гулять под окнами и разглядывать кипящую внутри жизнь.

Фильмы немного кино были черно-белыми, а картинки, что можно увидеть в окнах, — всегда цветные. Все двигаются забавно, как заводные фигурки. Почему этот мужчина воздел руки? Пальцы пианистки беззвучно касаются клавиш. Только тонкое стекло отделяет меня от их немного мира — от мира, в котором меня нет. Они не догадываются о моем присутствии, а я тем временем знакомлюсь с ними и даже как будто вхожу к ним в семьи. И даже более: они открывают рты беззвучно, как золотые рыбки, и я могу, подобно сценаристу, вложить в их уста любое слово. У меня когда-то была подружка, мы с ней часто играли в такую игру, бродя мимо богатых домов с незанавешенными окнами, придумывая различные истории о том, что происходит там, за стеклом, в лучах домашней лампы.

Ее звали Кэтрин, она мечтала стать писательницей. Она говорила, что это хорошее упражнение для развития творческого воображения — выдумывать мгновенные сценарии на неожиданные темы. Меня литературная карьера не волновала, и меня вполне удовлетворяла скромная роль — носить ее блокнот. В те темные вечера мне не раз приходило в голову, что в фильмах все выдумка. В реальной жизни, особенно после семи вечера, люди, предоставленные сами себе вообще почти не шевелятся. Иногда меня охватывали паника и немедленное желание позвонить в «скорую».

— Никто не может сидеть так долго в полной неподвижности. Она, верно, умерла. Посмотри, там уже давно настало трупное окоченение, это видно даже отсюда.

Потом мы шли в какой-нибудь кинотеатр, где шли Шаброль или Ренуар, и в ленте все актеры только и делали, что бегали по спальням, стреляли друг в друга и бесконечно разводились. Очень утомительно. Французы помешаны на своем интеллектуализме, но для нации мыслителей они слишком много бегают. Размышлять лучше сидя. Они же наворачивают в свои высокохудожественные фильмы столько действия, сколько американцам не впихнуть и в дюжину Клинтов Иствудов. «Жюль и Джим» — так и вообще боевик.

Мы были с ней так счастливы теми дождливыми беззаботными вечерами. Мы чувствовали себя Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Мне казалось, что такая роль по мне. А потом Кэтрин сказала, что она уходит. Ей этого не очень хочется, но писатели не бывают хорошими партнерами.

— Это только вопрос времени, — сказала она. — Я обязательно сопьюсь и разучусь готовить.

На мое предложение подождать и посмотреть, что получится, она грустно покачала головой и погладила меня:

— Купи себе собаку.

Естественно, меня это совершенно выбило из колеи. Такая радость была бродить с ней ночи напролет, иногда заходя в закусочную, и на рассвете сваливаться без сил на одну кровать.

— Я могу что-то для тебя сделать, прежде чем ты уйдешь? — вырвалось у меня.

— Да, — ответила она. — Скажи, ты не знаешь, почему Генри Миллер говорил, что пишет членом?

— Потому что он так и делал. Когда он умер, у него между ног нашли только шариковую ручку.

— Врешь, наверное? — сказала она.

Вру?

И вот я сижу, промокнув насквозь, на скамейке и улыбаюсь. Сила воспоминаний на время оторвала меня от реальности. Может быть, память — более реальное место? Поднявшись, отлепляю от ног прилипшие шорты. Совсем стемнело, а после наступления ночи парк принадлежит совсем другим особям, к которым я не отношусь. Лучше пойти домой и отыскать Жаклин.

Дома оказывается, что входная дверь заперта на замок. Я пытаюсь открыть ее, но изнутри дверь закрыта еще и на цепочку. Ору и стучу. Наконец, из щели почтового ящика вылетает листок. На нем написано: «УХОДИ». Я достаю ручку и пишу на обороте «ЭТО МОЯ КВАРТИРА». Как и следовало ожидать, ответа не последовало. Таким вот образом я второй раз за день оказываюсь у Луизы.

— Мы будем сегодня спать в другой постели, — говорит она, наполняя ванну и стоя в клубах пара,

благоухающего ароматическими маслами. — Я согрею комнату, а ты будешь лежать в ванне и пить какао. Ты не против, Кристофер Робин?

Да, не против, не против, даже могу напялить на голову синий колпак. Но все равно — как это нежно и ни на что не похоже. Совершенно невероятно. Жаклин должна была понять, что я пойду сюда, зачем же она так поступила? А вдруг они сговорились и хотят меня так наказать? Или я уже на том свете, и все это — Страшный суд? Ну, суд или нет, а к Жаклин я не вернусь. Что бы ни ждало меня у Луизы, — а я не питаю особых надежд, — но Жаклин обижена так сильно, что она не пойдет на примирение. В том парке под дождем мне стало ясно: Луиза — женщина, которую я желаю, пусть даже и не смогу получить. Честно признаться, Жаклин по-настоящему никогда и не была мне нужна — просто какое-то время у нее была подходящая форма.

Стыковка молекул — хорошая задача для биохимиков. Молекулы можно свести вместе многими разными способами, однако лишь немногие варианты соединений превращаются в прочные связи. Научный успех в области биохимического синтеза светит вам, если вы, например, обнаружите, какая химическая структура образует соединение, ну, скажем, с определенным видом белка в клетках раковой опухоли. Если вы сможете выполнить эту рискованную и головоломную работу, то сможете найти средство для излечения карциномы. Но молекулы, как и люди, существуют в мире вероятностей. Мы встречаемся с кем-либо, соединяемся и расстаемся, и не знаем, что будет дальше. Может быть, моя связь с Луизой исцелит мое израненное сердце, а может быть, это будет опасный и разрушительный эксперимент.

Я надеваю махровый халат, который мне дала Луиза. Хочется надеяться, что он не Эльджина. В одном похоронном бюро жульничали: покойника привозили в добротном костюме и пока готовили к погребению, бальзамировщик с подручными примеряли одежду на себя. Кому из них он подходил, платил шиллинг. То есть, шиллинг шел в церковную кружку, а костюм с покойника стаскивали. Конечно, мертвецу разрешалось покрасоваться в приличном виде во время отпевания, но перед самым погребением беднягу уже заворачивали в дешевую простынку. Поскольку я собираюсь воткнуть кинжал Эльджину в спину, мне не улыбалось носить его халат.

— Это мой, — сказала Луиза, когда мы встретились у нее наверху. — Не беспокойся.

— Откуда ты узнала, что я беспокоюсь?

— А помнишь, мы попали под проливной дождь по дороге к вам? Жаклин тогда настаивала, чтобы я переделалась. Она вручила мне свой халат, а я так хотела, чтобы это был твой. Я надеялась, он хранит твои тепло и запах.

— А разве я их не храню?

— Еще как. Ходячий соблазн.

Луиза разожгла камин в комнате, которую она именовала «будуаром». Сейчас почти никто не топит камин, но в их доме не было центрального отопления. Она сказала, что Эльджин ноет по этому поводу каждую зиму, хотя она сама покупает дрова и сама занимается растопкой.

— Ему на самом деле не нравится так жить, — сказала она, подразумевая внешнее величие их с Эльджином семейного гнезда. — Он бы был счастливее в поддельном тюдоровском особнячке в стиле 30-х годов с утепленными полами.

— Тогда почему вы купили такой?

— Потому что это принесло ему славу великого оригинала.

— Ты этим довольна?

— Я сама это сделала. — Она немного помолчала. — На самом деле, Эльджин участвовал только деньгами.

— Ты что ли презираешь его?

— Нет, вовсе нет. Я в нем разочаровалась.

Эльджин был самым талантливым среди практикантов своего выпуска. Он упорно трудился и прекрасно учился. Был сторонником новых методов, увлеченно работал. В первые годы его работы в больнице, когда Луиза поддерживала его финансово и оплачивала все общие счета за их скромную жизнь, Эльджин собирался доучиться и поехать в какую-нибудь страну «третьего мира». «Тропу консультантов», как он это называл, Эльджин презирал: способные молодые люди определенного происхождения недолго порхали по больницам, а потом получали повышения и переходили к чему-то полегче и повыгоднее. В медицине это считалось спринтерской дорожкой, женщин на ней было мало, но так, в основном, и делали карьеру.

— И что же произошло?

— Его мать заболела раком.

Сара в Стемфорд-Хилле заболела. Она всегда вставала в пять утра, молилась, зажигала свечи и принималась за работу: готовила еду на день, утюжила белые рубашки Исаву. Утром Сара накидывала на голову платок, и только перед тем, как в семь спускался муж, надевала длинный черный парик. Они завтракали, вместе садились в старый автомобильчик и проезжали три мили до аптеки. Сара мыла пол и вытирала пыль с прилавка, пока Исав надевал на талес белый халат и ворочал в кладовой коробки. Нельзя сказать, что лавка открывалась в девять — скорее они просто отпирали дверь. Сара продавала зубную пасту и таблетки, а Исав готовил аптекарские порошки. Этим они занимались пятьдесят лет.

Аптека ничуть не изменилась. Прилавок из красного дерева и стеклянные витрины были там еще до войны — еще до того, как Сара и Исав взяли аптеку в аренду на шестьдесят лет. По одну сторону от них сапожника сменила бакалейная лавка, превратившаяся в магазин деликатесов, превратившийся, в свою очередь, в кошер-кебаб. С другой стороны прачечная была переоборудована в химчистку. Ею до сих пор управляли дети их друзей Шиффи.

— Твой сын, — сказал Шиффи Исаву, — он доктор, я читал про него в газете. Он мог бы здесь иметь практику. Ты бы расширил магазин.

— Мне семьдесят два, — отвечал Исав.

— Да что ты говоришь? А сколько было Аврааму, а Исааку, а Мафусаилу? Вот если бы тебе было девятьсот шестьдесят девять, тогда бы было о чем беспокоиться.

— Он женился на шиксе.

— Все мы совершаем ошибки. Вспомни Адама.

Исав не сказал Шиффи, что больше не общается с сыном, и не думает, что Эльджин когда-либо даст о себе знать. Две недели спустя, когда Сара лежала в больнице и не могла произнести ни слова от боли, Исав позвонил Эльджину со своего прикованного к стенке бакелитового телефона. Им никогда не приходило в голову приобрести новую удобную модель. Божьи дети, на что им прогресс.

Эльджин приехал немедленно и в первую очередь переговорил с лечащим врачом, а только потом пошел к отцу у постели больной. Врач сказал, что надежды нет. У Сары рак кости, и она не выживет. Он добавил также, что она очевидно страдала уже много лет. Болезнь подтачивала ее, прах возвращался к праху.

— Отец знает?

— В некотором смысле. — Врач был занят и торопился дальше. Он передал свои записи Эльджину и оставил того у стола под лампой с перегоревшей лампочкой.

Сара умерла. Эльджин приехал на похороны и после церемонии отвез отца в аптеку. Исав неловко возился с ключами, открывая тяжелую дверь. На стеклянной вывеске еще сохранились золотые буквы, что когда-то знаменовали преуспевание Исаву. Сверху дугой значилось РОЗЕНТАЛЬ, снизу — АПТЕКАРЬ. Время и погода немало потрудились над вывеской, и хотя сверху все еще читалось «РОЗЕНТАЛЬ», снизу, где буквы полустерлись, можно было прочитать только «П...АР».

Эльджин, очутившись внутри, почувствовал сильную дурноту. Его окружило собственное детство — запах формальдегида смешивался с запахом мятных леденцов. За этим прилавком он делал уроки. Долгие вечера в ожидании, пока родители не заберут его домой. Иногда он засыпал прямо в магазине, в одних трусах и серых носках, положив голову на таблицу логарифмов. Исав тогда сгребал его в охапку и переносил в машину. Эльджин помнил отцовскую ласку только сквозь пелену снов. Исав был суровым родителем, но при виде детской головы, склоненной на прилавок, не достающих до пола ног, проникался нежностью к мальчику и шептал ему на ухо что-то утешительное о лилиях долин и о земле обетованной.

Воспоминания острой болью пронзили Эльджина, пока он стоял и смотрел, как отец медленно снимает черный пиджак и облачается в аптекарский халат. Видно было, что привычные действия приносят ему успокоение: он даже не взглянул на сына, а вместо этого уткнулся в книгу заказов, бормоча что-то себе под нос. Прождав некоторое время, Эльджин кашлянул и сообщил, что ему пора. Отец молча кивнул. Эльджин и не ожидал от него ответа.

— Я могу что-то для тебя сделать? — спросил он.

— Можешь ли ты мне объяснить, почему умерла твоя мать?

Эльджин кашлянул еще раз. Он был в отчаянии.

— Отец, но маме было много лет, у нее уже просто не было сил.

Исав покачал головой вверх-вниз, вверх-вниз.

— На все Господня воля. Бог дал, Бог и взял. Сколько раз я сегодня это уже повторял? — Он замолк, повисла долгая пауза. Эльджин еще раз кашлянул.

— Мне надо идти.

Шаркая, Исав зашел за стойку, нашарил под ней большую выцветшую банку и насыпал сыну в коричневый кулек мятных леденцов.

— Ты кашляешь, мой мальчик. Возьми вот это.

Эльджин сунул кулек в карман пальто и вышел на улицу. Он шел быстро, торопясь как можно скорее покинуть еврейский квартал, и как только дошел до магистрали, взял такси. Прежде чем залезть в машину, он выбросил кулек в урну на автобусной остановке. То была его последняя встреча с отцом.

Когда Эльджин маниакально взялся за исследования карциномы, он не предполагал, что это принесет бóльшую выгоду ему самому, чем его пациентам. Он использовал компьютерные модели, чтобы имитировать быстрое размножение злокачественных клеток. В генной терапии он видел наиболее вероятный путь решения проблем тела, восставшего против себя самого. Очень сексапильная медицина. Генная терапия была тогда на переднем крае науки, на ней делались имена и состояния. Американская фармацевтическая фирма соблазнила Эльджина и вознесла его из аптекарского магазинчика в исследовательскую лабораторию. Больниц он все равно никогда не любил.

— Сейчас, — сказала Луиза, — он вряд ли сможет правильно наклеить пластырь, однако знает все о раке. Все, кроме того, от чего он возникает и как его лечить.

— Звучит несколько цинично, тебе не кажется?

— Эльджина не волнуют люди. Он их никогда и не видит. Он уже лет десять не был в обычной палате. По полгода проводит в своей лаборатории в Швейцарии, в которую вложены многие миллионы фунтов, и смотрит на экран компьютера. Жаждет совершить великое открытие. Получить Нобелевскую премию.

— Но что плохого в честолюбии?

Она рассмеялась.

— С честолюбием-то все в порядке. Не в порядке он сам.

Интересно, смогу ли я жить с Луизой?

Мы легли, и мои пальцы поползли по изгибу ее губ, прямому строгому носу, прекрасному и требовательному.

Однако изгиб губ носу не соответствовал — рот ее был скорее чувственным, чем серьезным. Полным, соблазнительным, слегка жестоким. Вместе с носом он производил странное впечатление аскетической сексуальности. Проницательность и желание вместе. Луиза была римским кардиналом, целомудренным во всем, если не считать красивых мальчиков-певчих.

Вкус Луизы в сексе не соответствовал вкусам конца двадцатого века, в соответствии с которыми нужно все открывать а не скрывать. Ей нравилось поддразнивать, возбуждать неторопливо, когда игра ведется между равными, только равными быть им не всегда хочется. Она не принадлежала к типу женщин, который описывает Д. Г. Лоуренс: никто не мог бы овладеть Луизой просто в силу животной неизбежности. Ее нужно было брать целиком. Ее разум, сердце, душа и тело оставались сиамскими близнецами. Ее нельзя было отделить от нее самой. Она предпочитала безбрачие случке.

Эльджин и Луиза давно уже не занимались любовью. Она постоянно у него отсасывала, но не позволяла ему проникать в себя. Эльджин воспринимал это, как соблюдение условий их договора, и Луиза знала, что он ходит по шлюхам. Его склонности неизбежно выявились бы и в более традиционном браке. Нынешнее его хобби заключалось в том, чтобы летать в Шотландию и купаться там в овсяной каше, пока пара кельтских гейш ублажала его пенис резиновой перчаткой.

— Он патологически стесняется раздеваться перед посторонними, — рассказывала Луиза. — За исключением его матери, я одна видела его неодетым.

— Зачем ты с ним тогда остаешься?

— Раньше, пока он окончательно не помешался на работе, он был хорошим другом. И я была достаточно счастлива с ним — и живя при этом своей собственной жизнью. Пока не произошло одно событие.

— Событие?

— Да, я в парке увидела тебя. Это было задолго до того, как мы с тобой познакомились.

У меня не хватило духа расспрашивать ее подробнее. Мое сердце и так слишком часто билось, мною овладели одновременно возбуждение и усталость, как это бывает, когда выпьешь на пустой желудок. Но что бы она ни имела в виду, я пока не смогу с этим справиться. Лежа на спине, я бездумно разглядываю причудливые тени на стене. Недалеко от камина стоит декоративная пальма, и тени ее листьев постоянно меняют очертания. Это вам не уютное гнездышко.

В последовавшие за тем часы, полные прерывистой дремоты, меня не покидала легкая лихорадка, с которой я обычно выбираюсь из страсти или треволнений. Мне казалось, что маленькая комната полна привидений. Призрачные фигуры заглядывали в окна сквозь муслиновые занавески, перешептываясь друг с другом тихими голосами. Какой-то человек стоял, греясь у низкой каминной решетки. В комнате не было ничего, кроме большой деревянной кровати, и она плыла по воздуху, плавно покачиваясь. Мы были окружены руками, лицами, сливавшимися вместе, клубившимися и таявшими в воздухе, то громадными и четкими облаками пара, то лопавшимися, как детские мыльные пузыри.

Постепенно фигуры приобретали знакомые мне очертания — то были лица Инги, Кэтрин, Вирсавии, Жаклин и других, о которых Луиза ничего не знала. Они наступали на меня, протягивали ко мне руки, касались меня пальцами, дотрагивались до моих губ, носа, тянули за веки, не давая закрыть глаза. Обвиняли меня во лжи и предательстве. Мой рот открывался, чтобы возразить, и вдруг обнаружилось, что язык у меня выкорчеван с корнем. Должно быть, мои вскрики будили Луизу, потому что она крепко обнимала меня, гладила и нашептывала: «Я не отпущу тебя никогда!»

Однако как же мне попасть домой? Я звоню в зоопарк все следующее утро и постоянно слышу в ответ, что Жаклин на работу не вышла. Хотя чувствую я себя неважно — меня слегка лихорадит, а из одежды на мне все те же уже не слишком свежие шорты, я прихожу к выводу, что вопрос с Жаклин надо выяснить как можно быстрее. Не убежать, а пройти через это.

Луиза одалживает мне машину. Подъехав к дому, я обнаруживаю, что занавески на окнах по-прежнему задернуты, но цепочка на двери отсутствует. Я осторожно приоткрываю дверь. Меня бы несколько не удивило, если б Жаклин выскочила из кухни с ножом для рубки мяса. Войдя в прихожую, я зову ее по имени. Никакого ответа. Строго говоря, Жаклин не жила со мной вместе. У нее была комната в доме, купленном с кем-то на паях. Но часть вещей она держала у меня, и, насколько я могу судить, они исчезли. Нет пальто, что висело за дверью. Нет шляпы и перчаток на полке в прихожей. Войдя в спальню, я застываю в оцепенении. Чем бы ни занималась Жаклин предыдущую ночь, но времени на сон у нее наверняка не осталось. Комната напоминает разоренный курятник: повсюду пух и перья, подушки выпотрошены, пуховое одеяло разрезано и вывернуто. Она вытащила все ящики и вывалила содержимое на пол, как обычно поступают грабители. В полном потрясении, еще не понимая, что делать, я машинально наклоняюсь и поднимаю футболку — но тут же снова бросаю ее. Когда-нибудь она сгодится на тряпки — посередине вырезана огромная дыра. Иду в гостиную. Здесь получше, — по крайней мере нет перьев, правда, и ничего другого тоже нет. Стол, стулья, стереосистема, вазы и картины, хрусталь, зеркала и светильники — все исчезло. Прекрасное место для медитаций. На полу она оставила букет цветов. Может, не поместился в машину? Ее машина! На стоянке ее машина — под замком, будто соучастник. Как же она смогла вывезти все мои вещи?

Мне захотелось пописать. Желание вполне разумное, при условии, что туалет еще на месте. Он на месте, исчезло только сиденье со стульчака. Ванная выглядит так, будто в ней поработал извращенный садист-сантехник. Краны вывернуты из гнезд, под вентиляем валяется разводной ключ — кто-то сильно постарался лишить меня горячей воды. Все стены покрыты надписями, сделанными жирным фломастером. Рукописное наследие Жаклин. Длинный список ее достоинств размещался над ванной. Длиннющий список моих недостатков — над раковиной. Имя Жаклин, написанное многократно, образовало нечто вроде потолочного кислотного фриза. Жаклин переплеталась с Жаклин в бесконечном черно-белом орнаменте. Вместо горшка мне пришлось использовать кофейник. Она никогда не любила кофе. Очумело оглядываясь по сторонам, я вижу, что дверь ванны изнутри пересекает крупная надпись: «ДЕРЬМО». Слово и материя. Теперь понятно, почему так воняет.

Червяк в бутоне. Верно, во многих бутонах живут черви, но как быть с теми, что там заводятся? Мне и в голову не могло прийти, что Жаклин не способна уползти от меня так же тихо, как она вползла в мою жизнь.

Мудрые знатоки приличий, сторонники благоразумия и порядка (не слишком много страсти, не слишком много секса, зато много зелени и ранний отход ко сну) не признают бурных расставаний. В их мире ценятся хороший вкус и хорошие манеры. Они не подозревают, что порой, выбирая благоразумие, вы подкладываете под себя мину замедленного действия. Они не знают, что вы уже созрели для взрыва и только ждете своего шанса в этой жизни. Они не думают о том, что ваша взорвавшаяся жизнь может похоронить вас под обломками. Этого нет в их жизненном кодексе,

несмотря на то, что так случается снова и снова. Сиди ровно, не дрыгай под столом ногами. Вот и умница, вот и молодец. Все беды — от клише.

Устроившись на голом деревянном полу в комнате для медитаций, я погружаюсь в созерцание паука, ткущего паутину. Слепая природа. Homo sapiens. Почему-то вместо гениального откровения, какое снизошло на Роберта Брюса, на меня снизошли уныние и тоска. Я не из тех, кто заменяет любовь удобствами, а страсть — случайными связями. Мне не хочется тапочек дома и бальных туфель в квартире за углом. Ведь так же у них принято, правда? Упакуйте свою жизнь эффективно, как в супермаркете, причем сердце отдельно от печени.

Нет, я не из тапочек, не из тех, кто в тоскливом одиночестве сидит дома, принимая на веру байки о сверхурочной работе. Мне не приходилось ложиться в постель в одиннадцать вечера, пытаюсь заснуть, а вместо этого настороженно прислушиваясь, не фырчит ли у окна подъезжающая машина. Или высовывать в темноте руку из-под одеяла, чтобы поднести к глазам циферблат и почувствовать в желудке холодную тяжесть уходящих часов.

Однако я прекрасно знаю, что такое бальные туфельки и как хочется играть другим женщинам. Конец рабочей недели, внеплановая конференция на выходные. Да, у меня. Деловой костюм падает на пол, тело к телу, ножки врозь, с перерывом на шампанское и английский сыр. Время от времени кто-нибудь выглядывает в окно — какая там на улице погода. Поглядывая на часы, поглядывая на телефон, ведь она обещала ему позвонить после вечернего заседания. Она звонит. Она приподнимается с моего тела, вся потная после секса, и набирает номер, положив трубку себе на грудь.

— Алло, дорогой! Да, все в порядке. На улице такая мерзкая погода...

Выключите свет. Время здесь не властно. Мы в черной дыре, откуда ни вперед, ни назад. Физики спорят, что может случиться, если мы вдруг окажемся на краю такой черной дыры. Из-за каких-то особенностей горизонта события мы можем наблюдать события истории, но сами историей не становиться. Можем увидеть все, но не сможем ни с кем этим поделиться. Наверное, как раз там находится Бог: ну, что ж, тогда ему очень хорошо известно, как совершаются измены.

Не двигайтесь. Мы не можем выйти, мы — омары в ресторанном аквариуме. Вот они — границы нашего совместного существования: эта комната, эта постель. Добровольное сладострастное изгнание. Мы не выходим даже пообедать: мало ли кого можно встретить? Мы запасаемся продуктами заранее, как русские крестьяне. Мы должны сохранить еду на следующий день, заморозив ее или заранее обжарив в духовке. Ощущения тепла и холода, огня и льда — вот границы, в которых разворачивается наша жизнь.

Зачем нам наркотики? Нас одурманивает ощущение опасности. Где встречаться, что говорить, что случится, если нас вдруг увидят вместе? Мы думаем, что нас никто не заметил, но за шторами всегда маячат лица, и глаза их устремлены на дорогу. Им не о чем шептаться, и шептаться они будут о нас.

Включите музыку. Мы танцуем, прижавшись друг к другу, как пара гомосексуалистов пятидесятых годов. Если в дверь постучат, мы не откроем. А если откроем, она должна будет изображать моего бухгалтера. Звуки извне не достигают наших ушей, нас мягко укачивает музыка — словно пол смазан лубрикантом. Всю неделю я жду этой встречи, всю неделю мной правят календари и часы. Она может позвонить в четверг и отменить нашу встречу, или случится что-нибудь, и мы не встретимся в эти выходные, один уикенд из пяти, да и то мы крадем время после работы.

Она выгибает спину — будто кошечка потягивается. Она прижимается чреслами к моему лицу, как молодая кобылка, трущаяся о прутья калитки. От нее пахнет морем, заводью между скал, где мне случалось бродить в детстве. Она хранит там у себя морскую звезду. Я дотягиваюсь и слизываю соль, а когда мои пальцы пробегает по краю, она распахивается и смыкается, как актиния. Каждый день ее заливают свежий прилив желанья.

Однако солнце не желает оставаться за жалюзи. Комнату затапливает свет и волнами ложится на ковер. Ковер, что выглядел так респектабельно в магазине, теперь отдает гаремом. Мне говорили, что такой оттенок называется бургунди.

Она лежит против света, опираясь спиной на луч. Под ее веками свет разламывается на яркие краски. Ей хочется, чтобы свет проник в нее, растопил тупой холод ее души, где ничто не согревает ее уже много лет. Тело мужа облепляет ее, как брезент. Он входит в нее, как в болото. Она любит его, и он любит ее. Они женаты до сих пор, не так ли?

В воскресенье, когда она уходит, я могу, наконец, отдернуть занавески, завести часы и вымыть грязную посуду, наваленную вокруг кровати. Могу пообедать остатками и представить себе, как она обедает дома, прислушиваясь к мягкому тиканью часов и деловитому журчанию воды в наполняющейся ванне. Муж беспокоится о ней: у нее такие круги под глазами, бедняжка, верно,

почти не спала. Потом он подоткнет чистые простыни, вот так... А я свои, грязные, отволочу в прачечную.

Подобные странности неизбежно огорчают таких женщин, как Жаклин, но именно таким женщинам приходится сталкиваться в жизни с подобными странностями. Неужели нельзя иначе? Разве счастье всегда должно быть компромиссом?

Когда мне приходится сидеть в очереди у зубного, обычным развлечением мне служат дамские журналы. Они всегда поражают меня своими хитростями секса и ловушками для мужчин. Их гляцевые страницы полны подробных советов, как определить, изменяет вам муж или нет: в первую очередь следует проверить его трусы и принадлежности для бритья. Утверждается, что заведя любовницу, мужчина должен облачить свои мужские достоинства в новое изысканное белье, а следы заметать новым лосьоном. Журналистам, без сомнения, это известно лучше. Так и видите, как прекрасный принц, крадучись, проскальзывает в ванную комнату, прижимая к груди новую упаковку трусов (большого размера), и запирается изнутри. Прочь старые заношенные плавки. Жаль, что зеркало так высоко: лицо видно отлично, но чтобы разглядеть самое главное, он хватается рукой за вешалку для полотенец и, опираясь о край ванны, подтягивается вверх. Так-то лучше: сушая рекламу из мужского журнала, тонкий хлопок выгодно подчеркивает крепкую талию. Удовлетворенный герой спрыгивает на пол и выливает на себя ведро одеколона «Оммаж Ом». Супруга, конечно, ничего не заметит — она готовит карри.

Однако если изменяет жена, это вычислить труднее. По крайней мере так утверждали журналы. Потому что она, напротив, не будет покупать новую одежду, а оденется в стиле «синий чулок», чтобы муж поверил, что идет она не на свидание, а на занятия клуба любителей лютневой музыки. Впрочем, если жена не работает, то ей трудно будет уходить из дому по вечерам. В ее распоряжении только дневные часы. Может быть, поэтому женщины так стремятся устроиться на работу? И потому же многие предпочитают заниматься сексом в дневное время, как это обнаружил Кинзи⁵?

У меня была как-то подружка, которой удавалось достигать оргазма только между двумя и пятью часами дня. Она работала в оксфордском ботаническом саду, занималась разведением каучуконосов. Доставить ей удовольствие было непросто: в любой момент мог войти какой-нибудь посетитель, честно заплативший за вход и жаждущий совета о разведении *Ficus elastica*. Однако страсть гнала меня вперед, заставляя появляться на пороге ее оранжереи в самый разгар зимы, притоптывая и отрясая снег с ботинок — почти как героини «Анны Карениной».

Мне всегда нравился Вронский, но жизнь литературных героев никогда не становилась моей собственной. Джудит же была полностью погружена в книги Конрада. Она сидела посреди каучуконосов и читала «Сердце тьмы». Самой эротичной для нее была моя фраза: «Мистер Куртц... мертв». Советские люди, как мне рассказывали, ужасно страдают от того, что зимой приходится надевать на улицу меховые шубы, а дома раздеваться до панталонов. У меня возникла та же проблема. Джудит проводила дни в тепличном климате, подходящем лишь для футболок и шорт. Вот мне и приходилось либо таскать с собой свою утлую одежонку, либо бегать по морозу в одной стеганой куртке. В один прекрасный день, после вина и секса на древесных стружках под извилистой лозой у нас с ней вышла размолвка, и она заперлась от меня в оранжерее. Мои крики и отчаянный стук в стекла ни к чему не привели. На улице шел снег, а на мне был только комбинезончик с портретом Микки-Мауса.

— Если ты меня непустишь, я погибну!

— Ну и погибай!

Мысль о такой страшной смерти в столь юном возрасте показалась мне ужасной. Ноги сами понесли меня по улицам к дому с немалым проворством. Старик пенсионер дал мне 50 пенсов на какое-то тряпье, и меня не арестовали. Нужно быть благодарными и за малое добро. На мое заявление по телефону, что между нами все кончено, и просьбу вернуть мои вещи, Джудит отрезала:

— Я их сожгла.

Возможно, мне просто не суждено обладать материальными благами. Возможно, они тормозят мой духовный прогресс, и потому мое внутреннее «я» подсознательно стремится выбрать ситуации, в которых я освобождаюсь от материальных излишков. То была утешительная мысль. Думать так было все же лучше, чем лизать зад Джудит... Хоть он мне и дорог по-прежнему.

⁵ Альфред Кинзи (1894—1956) — американский зоолог, автор исследований сексуального поведения мужчин и женщин.

В разгар всего моего детского тщеславия лицо Луизы, слова Луизы «Я не отпущу тебя никогда!» задели меня за живое. Как раз то, чего я боюсь, чего я тщательно избегаю во всех своих зыбких связях. Обычно первые полгода я схожу с ума. Полночные звонки, вспышки страсти, любимая — как генератор тока для увядающих клеток. Однако после того, как меня исхлестала Вирсавия, пришлось дать себе клятву больше в такие переделки не попадать. То есть, если мне и нравится, когда меня хлещут, следует надевать дополнительный плащ. Жаклин и стала для меня таким плащом, гасящим ощущения. С ней можно было забыть о чувствах и барахтаться в луже удовлетворенности. Говорите, удовлетворенность — тоже чувство? А вам не кажется, что это как раз его отсутствие? Мне такое состояние нравилось из-за того особого оупения, какое наступает при посещении зубного врача. Не скажешь, что больно, но и не безболезненно: легкий дурман. Удовлетворенность хороша, когда вы уже смирились. В ней есть свои преимущества, но зачем напяливать шубу и варежки, если тело жаждет одного — быть раздетым?

Никогда прежде, до встречи с Жаклин, у меня не было потребности вспоминать своих прежних подружек. У меня не было на это времени. Жизнь с ней превратила меня в некую пародию на отставного полковника, этакого спортивного малого в твидовом пиджаке, разложившего в ряд свои многочисленные трофеи, с каждым из которых связана целая охотничья история. Зачастую глаза мои бездумно устремлялись на бокал с хересом, а перед ними проплывали Инга, Кэтрин, Вирсавия, Джудит, Эстелла... Эстелла? Господи, ведь это было уже тысячу лет назад. У нее была тогда контора по приему металлолома... Но нет, не хочу я удаляться в такую глубь времен, это ж не научная фантастика. И наплевать, что у Эстеллы был отличный «роллс-ройс» с пневматическим задним сиденьем. До сих пор помню запах кожаной обивки.

Лицо Луизы. Под ее жгучим взглядом сгорает мое прошлое. Азотная кислота любимой. Я что — надеюсь, что Луиза спасет меня? Взвесит на великих весах добрые и злые деяния, и доска вдруг станет девственно чистой? В Японии умеют довольно мило восстанавливать девственность яичным белком. По крайней мере, целые сутки можно ходить с нетронутой плевой. В Европе же мы всегда предпочитали половинку лимона. Она не только служит грубым маточным кольцом, но и мешает даже самому настойчивому мужчине забросить якорь на ту глубину, которая его так манит даже в самых, казалось бы, податливых из женщин. Узость прохода сходит за новизну, а мужчина верит, что глубины его юной невесты надежно запечатаны, и с нетерпением ждет погружения в нее — дюйм за дюймом.

Смошенничать здесь легко. Чего гордиться неверностью? Занимать что-то под доверие, которым кто-то вас наделил, поначалу не стоит ничего. Вам это сходит с рук, вы занимаете еще чуть-чуть, потом еще, а потом уже и занимать нечего. Странно — казалось, брали так много, а ладони пусты.

«Я буду любить только тебя» — это границы спокойного пространства, куда нет доступа другим желаниям. Никто не может определить любовь законодательством, ей нельзя приказывать, ее нельзя заманивать лестью. Любовь принадлежит только самой себе, глухая к людским мольбам и людской ненависти. Насчет любви не поторгуетесь. Только любовь сильнее ваших желаний и страстей, и только она одна — разумная защита от искушений. Многие верят, что искушения можно избежать, забаррикадировав дверь, а заблудшие желания можно изгнать из тела, как ростовщиков из храма. Может и можно, если будете неусыпно надзирать над ними днем и ночью, не видя ничего вокруг, не ощущая запахов и даже не мечтая. Наиболее надежной защитой, благословенной церковью и признаваемой государством, считается брак. Поклянись, что ты принадлежишь только ей или ему, и волшебным образом все так и случится. Но измены — такое же порождение разочарований, как и секса. Чары не работают. Вы заплатили деньги, съели свадебный пирог, но ничего не вышло. Не вы же сами в этом виноваты, правда?

Брак — хлипкое оружие, когда речь идет о желаниях. С таким же успехом можно с деревянным ружьем ходить на питона. Один мой друг, банкир, очень богатый человек, немало проездивший по свету, сказал мне однажды, что собирается жениться. Моему удивлению не было границ: мне было известно, что он сходит с ума по танцовщице, которая по каким-то диким, одной ей понятным резонам никак не соглашалась выйти за него замуж. В конце концов он потерял терпение и нашел себе милую и уравновешенную девушку, управлявшую школой верховой езды. Мы встретились с ним у него дома в выходные перед самой свадьбой. Он долго рассказывал, как серьезно относится к брачным обетам: он даже заранее прочел текст церковной церемонии, и тот ему понравился. В его параграфах он предчувствовал счастье. В этот момент позвонили в дверь — ему принесли целый ящик белых лилий. Он с энтузиазмом стал расставлять цветы, делясь со мной соображениями о том,

что такое любовь. Тут опять раздался звонок в дверь, ему принесли большой ящик «Вдовы Клико» и необъятную банку зернистой икры. Стол у него уже был накрыт, банкир то и дело поглядывал на часы.

— Когда я женюсь, — сказал он, — я не смогу даже помыслить о другой женщине.

Звонок прозвенел в третий раз, и на пороге показалась танцовщица. Они собирались провести вместе все выходные.

— Я ведь еще не женат, — улыбнулся он.

Когда я говорю: «Я буду любить только тебя», следует иметь это в виду вопреки формальностям, вместо формальностей. Если я буду прелюбодействовать в сердце своем, то понемногу начну терять тебя. Сияющий лик твой в моем сердце поблекнет и потускнеет. Я могу не заметить этого сначала — напротив, я смогу даже радоваться за себя, что совершаю измену лишь в воображении. И все же я затупляю тот кремь, что разжигает между нами искру, наше желание друг друга превышает всего остального.

Кинг-Конг. Огромная горилла взобралась на вершину Эмпайр-Стейт-Билдинга с Фэй Рэй на ладони. На борьбу с монстром вылетает отважная стайка самолетиков, но обезьяна отмахивается от них, как от надоедливой мошкары. В хватке страсти ваш двухместный биплан с надписью «СУПРУГИ» вряд ли сможет причинить чудовищу урон. Вы по-прежнему будете просыпаться ночью и лежать без сна, вертя на пальце обручальное кольцо.

С Луизой же мне хотелось совсем другого. Мне хотелось праздника и в то же время — домашнего уюта. Страстные желания соседствовали во мне с твердой уверенностью, что это продлится дольше обычного полугодия. Мои суточные биологические часы, что отправляют меня спать вечером и будят по утрам, имеют еще один циферблат, настроенный на период в двадцать четыре недели. Хотя однажды мне удалось немного удлинить этот срок, но остановить часы совсем не удастся. С Вирсавией мы перешли заветную черту, и это была моя самая длительная связь за последние три года. Но, быть может, причина была лишь в том, что мы проводили очень мало времени вместе. Если бы она жила со мной, ела за одним столом, мылась в той же ванне, возможно, мне бы и не удалось преодолеть отметку в шесть месяцев — или внутри бы уже начался нетерпеливый зуд. Думаю, она это знала.

Интересно, что влияет на эти суточные часы? Что заставляет их идти быстрее или замедлять свой ход? Эти вопросы исследует одна сомнительная ветвь науки, которая называется хронобиологией. Интерес к ним вызван тем, что жизнь человека становится все менее естественной, и нам хочется одурачить природу, чтобы она подстроила под нас свои клише. Рабочие ночных смен и те, кому приходится постоянно летать на самолетах, нередко оказываются жертвами упрямых биологических часов. Тут виноваты гормоны, не обходится без общественных факторов и окружающей среды. Из всей этой каши мало-помалу проступает свет. Количество света, получаемое нами в течение суток, оказывает решающее влияние на наши биочасы. Свет. Дисковая пила солнца, что испаривает тело насквозь. Решусь ли я подставить себя под прямые лучи взгляда Луизы? Это рискованно. Человек может сойти с ума, постоянно находясь на свету, но как иначе избавиться от старой привычки?

Луиза берет мое лицо в ладони. Я чувствую ее длинные пальцы у себя на щеках, на подбородке. Она притягивает меня к себе, ласково целует меня, забираясь языком под нижнюю губу. Я тоже обнимаю ее, толком не зная, любовники мы, или я — дитя. Мне хочется зарыться в складки ее одежды, укрыться там от всех напастей. Острые вспышки желания еще пронизывают мое тело, но меня уже окутывает сонное мягкое облако, я чувствую себя в безопасности, как бывало в детстве, когда мне доводилось плавать на лодке. Луиза укачивает меня на груди, тишайшее море, ясное небо, лодка с прозрачным дном, и никакого страха.

— Ветер поднимается, — говорит она.

Луиза, позволь мне плыть к тебе по этим норовистым волнам. Пусть меня ободряет надежда святых в их утлых челнах. Как они решались пуститься в путь задолго до 1000 года, когда от бурных морей их отделяла лишь дранка и кожа? Что давало им эту веру в другие берега, неизведанные и не нанесенные на карты? Мне кажется, я так и вижу их: вот они жуют черный хлеб, закусывая медовыми сотами, вот укрываются от дождя под звериными шкурами. Их тела страдали от непогоды, но души были чисты и прозрачны. Море не означало для них конца пути. Они верили в это вопреки приметам.

Пилигримы древних времен несли веру в своем сердце. Это и была их церковь, их божественная

«экклесия». Храм нерукотворный. Та песня, что вела их сквозь мрак и бури, был божественный гимн, от которого звенели своды. Песней они открывали Богу души. Вот поют они, закинув головы, распахнув уста, и лишь чайки слышат их, садясь на борта их челнов. Одни в слишком соленых морях, под грозными небесами, и лишь голоса защищают их хвалами Господу.

Любовь вела их вперед. Любовь вернула их домой. Руки их загубели от весел, жилы закалила непогода. В те далекие времена путешествия были непостижимы: кто сейчас оторвется от родного очага и пустится в открытое море? зимой, без компаса и в одиночку? То, чем рискуете, и есть ваша цена. Пред ликом любви очаг и странствие сливаются в одно.

Луиза, ради тебя мне не жаль сжечь все мое прошлое, я приду к тебе, не оглядываясь назад. Я знаю, что такое безрассудство, меня никогда не волновала цена. Сейчас же я знаю цену, какую мне придется заплатить. Понимаю, чего мне будет стоить разрыв с привычками всей жизни. Все понимаю, но меня это не беспокоит. Ты открыла мне свободное пространство, пока ничем еще не заполненное. Этот путь может привести меня в никуда, но может оказаться и освобождением. Меня не страшит риск. Я хочу использовать этот шанс, потому что прежняя моя жизнь покрылась плесенью.

Она целует меня, в ее поцелуе присутствуют все оттенки страсти. Любовница и ребенок, святая и распутница. Разве кто-либо целовал меня прежде? Мне введома робость необъезженного жеребенка. Мне знакомо чванство Меркуцио. Лишь позавчера мы занимались любовью с этой женщиной, вкус ее кожи еще не выветрился с моих губ, но останется ли она со мной? Я дрожу, как первоклашка.

— Ты дрожишь, — сказала она.

— Должно быть, простуда.

— Давай я тебя согрею.

Мы ложимся на пол в моей комнате, повернувшись спиной к свету. Мне не нужен никакой другой свет, кроме касаний ее пальцев, которые ласкают мою кожу так, что наружу выступают нервные окончания. Закрыв глаза, я начинаю путешествие вдоль твоей спины, через ухабы и булыжники позвонков вниз к влажной теснине, а затем к глубокой копи, в которой можно утонуть. Есть ли на свете иные места кроме тех, что открываешь в теле любимой?

Потом мы лежим успокоенные, глядя, как вечернее солнце клонится к закату, и длинные тени подступающих сумерек ложатся узором на белые стены. Держа Луизу за руку, я не только ощущаю ее ладонь в своей, но понимаю, что между нами может возникнуть еще большая близость, понимание другого человека, которое глубже сознания, которое скорее хранится в теле, чем постигается умом. Мне еще не приходилось испытывать ничего подобного: мне бы показалось, что это фальшивка, если б не одна знакомая пара. Они очень долго пробыли вместе, и время не ослабило их чувств. Они стали похожи друг на друга, но не потеряли индивидуальности. Да, мне встретила лишь одна такая пара, и меня переполняла зависть. Странно, но рядом с Луизой мне кажется, будто все это когда-то уже происходило со мной. Мне ничего не было о ней известно, и в то же время было известно все. Нет, не факты и события жизни, хотя мне было страшно любопытно все, связанное с Луизой, а некое доверие. В тот вечер мне казалось, что мы всегда были здесь вместе с Луизой, что мы породнились с ней давным-давно.

— Я объяснилась с Эльджином, — сказала она. — Про нас с тобой. Сказала, что мы спали.

— И что он?

— Он спросил, на какой кровати.

— Что?

— Думаю, он имел в виду супружеское ложе, как он его называет, то есть то, что он сделал своими руками. Мы тогда жили в маленьком домике, на мои деньги. Он был в интернатуре, я преподавала, и он мастерил ее по вечерам... Она очень неудобная. Я сказала ему, что мы спали на моей кровати, в будуаре... Он чуть успокоился.

Могу себе представить, что почувствовал Эльджин. Вирсавия всегда настаивала на том, чтобы мы спали на ее супружеской кровати, и мне следовало занимать место ее мужа. Мне это претило: я считаю, постель должна быть безопасным местом, а она таким быть не может, если только отвернетесь, а в ней уже кто-то другой. Хотя я высказываю это сейчас, а тогда меня это не останавливало. Теперь я себя за это презираю.

— Я сказала Эльджину, что мы должны с тобой встречаться, что я буду приходить и уходить с тобой. Еще сказала, что не хочу врать сама и не желаю, чтобы врал он... На что он спросил, намерена ли я уйти от него, а я честно ответила, что пока не знаю.

Она поворачивает ко мне расстроенное и встревоженное лицо.

— Я и в самом деле не знаю. Ты хочешь, чтобы я его бросила?

Я сглатываю комок, застрявший у меня в горле и стараюсь взять себя в руки. В горле у меня клокочет ответ, рвущийся прямо из сердца: «Да — собирайся немедленно!» Но я не могу этого вымолвить, и то, что я говорю, подсказано разумом, а не чувством.

— Может, посмотрим, как у нас все будет получаться?

Лицо Луизы на долю секунды выдало, что ей бы тоже хотелось ответа: «Да!» Я решаю помочь нам обоим.

— Мы можем все решить в ближайшие три месяца. Так будет лучше для всех — для тебя, для Эльджина...

— А как насчет тебя?

Я пожимаю плечами.

— С Жаклин у меня уже все кончено. Я буду с тобой всегда, когда ты захочешь.

Она говорит серьезно:

— Мне бы хотелось предложить тебе нечто большее, чем неверность.

Я гляжу на дорогое лицо и думаю: а что могу предложить я? Грязь прошлого, что прилипла к моим подошвам, еще не стерлась.

— Луиза, ты вчера сердилась на меня и утверждала, что ты мой очередной охотничий трофей. Ты запретила мне говорить о любви, пока я не разберусь в себе. И ты была кое в чем права. Дай мне время переварить то, что происходит с нами. Не пытайся облегчить мне задачу. Мне нужна уверенность в себе. И я хочу, чтобы ты смогла быть уверена во мне.

Она кивает.

— Когда я увидела тебя два года назад, я подумала, что лучше тебя нет никого — ни мужчин, ни женщин.

Два года назад? О чем она?

— Я увидела тебя в парке: как ты бродишь в одиночестве и разговариваешь на ходу. Я ходила за тобой битый час, прежде чем пойти домой. Я и не надеялась, что мне удастся встретиться с тобой еще. Мне казалось, это была игра воображения.

— О! А ты часто преследуешь людей, гуляющих по парку?

Она рассмеялась.

— Никогда раньше и только один раз после. Когда мне посчастливилось увидеть тебя во второй раз, в Британской Библиотеке.

— За переводами?

— Да. Я заметила номер твоего места и спросила у служителя твою фамилию. Позже по фамилии узнала твой адрес. Вот почему полгода назад у твоих дверей оказалось промокнутое и расстроенное создание.

— Ты же сказала, у тебя украли сумочку.

— Да.

— Ты спросила, нельзя ли переждать дождь у меня и отсюда позвонить мужу.

— Да.

— И все это была выдумка?

— Мне нужно было встретиться с тобой. Это была моя единственная мысль. Согласна — это было не очень умно. Ну, а потом я познакомилась с Жаклин и стала убеждать себя, что я должна остановиться, подумать об Эльджине. И я пыталась остановиться. Тешила себя мыслью, что мы сможем быть просто друзьями, а если я стану твоим другом, этого будет достаточно. И разве мы с тобой не стали друзьями?

Моя память возвращается в тот день, когда у моих дверей появилась Луиза, вымокшая под дождем. Пак, возникший из тумана. В волосах блестели сверкающие капельки дождя, дождь стекал по груди, туго обтянутой намокшим муслиновым платьем.

— Это я по примеру Эммы, леди Гамильтон, — пояснила Луиза, уловившая, о чем я думаю. — Она сделала это специально перед выходом на улицу. Это, конечно, провокация, но с Нельсоном сработало.

Опять этот Нельсон...

Да, я припоминаю тот день: я вижу ее из окна спальни и спешу наружу. Доброе дело с моей стороны, и при том — восхитительное. Я звоню ей на следующий день, и она любезно приглашает меня на ланч. Все это я припоминаю, но не могу понять, зачем ей все это было нужно. Я не могу пожаловаться на недостаток уверенности в себе, однако красотой я не отличаюсь. Это слово подходит только к особым людям — таким, например, как сама Луиза. Так ей и говорю.

— Тебе не видно того, что видно мне. — Она гладит меня по щеке. — Ты — как кристально чистая заводь, в которой играет солнечный свет.

Кто-то замолотил кулаком в дверь. Мы подпрыгнули от неожиданности.

— Это наверняка Жаклин, — вздохнула Луиза. — Я так и думала: она придет, когда стемнеет.

— Думаешь, она вампир?

Стук прекратился и послышалось, как аккуратно поворачивается в двери ключ. Она что — проверяла, есть ли кто дома? Слышны ее шаги в прихожей, вот она двинулась в спальню. Открыла дверь в гостиную. Увидев Луизу, Жаклин разрыдалась.

— Объясни мне, Жаклин, почему ты украла мои вещи?

— Ненавижу тебя!

Я пытаюсь уговорить ее присесть и что-нибудь выпить. Но как только в руках Жаклин оказывается бокал, она швыряет его в Луизу. Промахивается, и бокал разбивается о стену. Схватив острый осколок, она нацеливает его в лицо Луизы. Я перехватываю ее запястье и выворачиваю его, она вскрикивает, осколок падает на пол.

— Вон! — Я не отпускаю ее руку. — Отдавай ключи и выметайся!

В тот момент мне было на нее наплевать. Хотелось стереть ее с лица земли. Хотелось расцарапать ее раскрасневшуюся от гнева тупую физиономию. Каким-то краешком сознания я понимаю, что она этого не заслуживает, это моя слабость, а не ее довела нас всех до этого позора. Следовало бы как-то все смягчить, увести разговор в сторону. Вместо этого я отвечаю ей пощечину и выхватываю из ее кармана свои ключи.

— Это за ванную! — восклицаю я, пока она ощупывает разбитую губу. Жаклин пятится к двери и плюет мне в лицо. Тогда я хватаю ее за шиворот и тащу к машине. Она отъезжает, не включая фар.

Я стою с безвольно опущенными руками и смотрю, как она скрывается за поворотом. Потом со стоном опускаюсь на низкую каменную ограду у самого дома. Воздух холодит и успокаивает. Почему, зачем эта пощечина? Я так ценю интеллигентность и воспитанность, мягкое вежливое обращение, всегда стараюсь быть хорошим партнером. А сегодня будто это не я, а забулдыга в дешевом кабаке. Да, она разозлила меня, но пощечина? Сколько раз меня с души воротило, когда в судах оправдывали насильников? Какое отвращение вызывала у меня чужая жестокость?

Уронив голову на руки, я плачу. Все это уродство — моих рук дело. Еще одна порванная связь, еще один оскорбленный человек. Когда я остановлюсь? Костяшками суставов я веду по шершавому камню. Мы всегда находим оправдание, весомую причину своим действиям. Но сейчас я не нахожу себе оправдания.

— Ладно, — говорю я себе. — Это твой последний шанс. Если ты хоть чего-нибудь да стоишь, докажи это. Докажи это Луизе.

Я возвращаюсь в дом. Луиза сидит неподвижно, глядя в бокал, будто в хрустальный шар.

— Прости меня, — бормочу я.

— Эта пощечина не мне, — отвечает она, поворачиваясь в мою сторону. Губы ее сжаты в прямую строгую линию. — Но если ты когда-нибудь ударишь меня, я от тебя уйду.

В желудке все переворачивается. Мне хочется сказать что-то в свое оправдание, но я не могу вымолвить ни слова. Я не доверяю своему голосу.

Луиза встает и уходит в ванную — я не успеваю предостеречь ее. Слышно, как она открывает дверь и вскрикивает резко и сдавленно. Затем возвращается и протягивает мне руку. Остаток вечера мы занимаемся уборкой.

Самое интересное в узлах — их кажущаяся сложность. Даже простейший узел — трилистный, с его тремя грубо симметричными нахлестами — имеет математическую и художественную ценность. То, как завязывал сложные узлы царь Соломон, люди верующие считают вершиной мудрости. Узлы бросают вызов своими непредсказуемыми правилами ковровщицам и ткачихам по всему миру. Узлы могут видоизменяться, но вести себя они должны хорошо. Запутанный клубок — тоже своего рода узел.

Мы с Луизой оказались в путях любви. Веревка, что связывала нас, не резала руки, не давила на горло, не перекручивалась. Наши запястья были свободны, на шею не накинута петля. В Италии в четырнадцатом и пятнадцатом веках было такое спортивное развлечение: двух борцов связывали вместе прочным канатом и давали им забить друг друга до смерти. Это и вправду часто

заканчивалось смертью одного, поскольку канат не давал более слабому вырваться и бежать. Победитель же сохранял канат и завязывал на нем узел. А потом таскался с ним по улицам и угрозами вымогал деньги у прохожих.

Я не хочу, чтобы мы были друг для друга спортивным развлечением. Не желаю наносить тебе удары кулаком, запутывать те простые узы, что нас соединяют. У меня нет желания ставить тебя на колени. За фасадом обычной жизни скрывается хаос. Мне хочется, чтобы обруч, которым скреплены наши сердца, поддерживал нас, а не был орудием насилия. Я не хочу затягивать тебя сильнее, чем ты сможешь выдержать. Крепкие узы нужны, но пусть с одной стороны болтается кончик — будет на чем повеситься.

Я сижу в библиотеке и пишу это Луизе, разглядывая репродукцию из древнего манускрипта, где первой заглавной буквой — Л. Эта Л переплетается с изображениями птиц и ангелов, что слетались к нему из междустрочий. Сама буква — лабиринт. Над ним стоит пилигрим в шляпе и плаще. В самой середине буквицы, которая со своим двойником образует прямоугольник лабиринта — агнец Божий. Как пилигриму пробраться через лабиринт, такой несложный для птиц и ангелов? Я снова и снова пытаюсь пройти по тропе, но всякий раз в тупиках натываюсь на лучезарных змеев. Сдавшись, захопываю книгу, забыв, что первым словом была Любовь.

Последующие недели мы с Луизой проводили вместе столько времени, сколько удавалось. Она деликатно обращалась с Эльджином, а я — с ними обоими. Деликатность нас уже утомляла.

Однажды ночью после лазаньи из морепродуктов и бутылки шампанского мы занимались любовью так неистово, что кровать в будуаре прогромыхла из конца в конец комнаты, будто подгоняемая турбиной нашей похоти. Мы начали у окна и кончили у дверей. Известно, что моллюски — очень хорошие стимулянты, Казанова ел их перед тем, как ублажить очередную даму, но, правда, он верил и в возбуждающее действие горячего шоколада.

Красноречивость пальцев, язык глухих и немых, тайнопись тела, жаждущего другого тела. Кто обучил тебя писать кровью по моей спине? Кто научил тебя ставить на мне тавро ногтями? Ты выцарапала свое имя у меня на плечах, отметила меня своим знаком. Подушечки твоих пальцев обратились в литеры горячего набора, ты вбиваешь послание в мою кожу, смысл в мое тело. Твоя азбука Морзе мешает биению моего сердца. У меня было верное сердце, пока мы не встретились с тобой. На него можно было положиться, оно не подводило меня, служило преданно и крепчалось. Но теперь ты изменила темп, ты вплела свой ритм, ты играешь на мне, как на тугом барабане.

Тайнопись плоти — секретный код, видимый только в особом свете: в нем содержится весь опыт прежней жизни. В некоторых местах записи столько раз переписывались заново, что буквы палимпсеста на ощупь стали шрифтом Брайля. Мне нравится не подпускать к своему телу пытливые взоры. Никогда не следует открываться полностью, рассказывать историю целиком. А вдруг Луиза умеет читать руками? Она перевела бы меня в собственную книгу.

Мы старались не очень шуметь, чтобы не беспокоить Эльджина. Он должен был уйти, но Луиза предполагала, что все-таки остался дома. В тишине и темноте, окружавшей нас, мы любили друг друга, и мои ладони скользили по всем ее косточкам. Что время сотворит с ее кожей, такой новой под моим прикосновением? Остыну ли я к этому телу? Почему страсть проходит? Пусть время, что иссушит тебя, погубит и меня тоже. Подобно двум созревшим плодам, мы упадем и покатаемся вместе по траве. Милый друг мой, позволь мне лежать рядом с тобой, глядя на плывущие облака, пока мы не истеем и земля не поглотит нас?

Когда мы спустились утром позавтракать, Эльджин сидел на кухне. Мы были ошарашены. Он был бледен, как его рубашка. Луиза незаметно проскользнула на свое обычное место в конце длинного стола. Мне досталась промежуточное место где-то посередине. Кусок тоста с маслом провалился мне в горло так громко, что стол вздрогнул, а Эльджин поморщился:

— Почему от вас всегда так много шума?

— Прости, Эльджин, — говорю я, засыпав всю скатерть крошками.

Луиза, улыбаясь, передает мне чайник.

— Чему ты так радуешься? — спрашивает Эльджин. — Ведь тоже, наверное, не выпалась?

— Ты сказал мне вчера, что уходишь, — спокойно замечает Луиза.

— Я вернулся. В конце концов, это мой дом. Я за него заплачу.

— Это наш дом, и я предупредила тебя, что мы будем здесь.

— Лучше б я заночевал в борделе.

— Я думала, ты именно там.

Эльджин поднимается и швыряет салфетку на стол.

— Из-за тебя я сегодня вряд ли буду в хорошей форме. Я не выпался, а мне еще надо работать.

Между прочим, от моей работы зависит наша жизнь. Так что можешь считать себя убийцей.

— Могу, но не буду, — хладнокровно парирует Луиза.

Мы слышим, как Эльджин громыкает в прихожей, выволакивая горный велосипед. Из окна первого этажа было видно, как он нахлобучивает на голову розовый шлем. На велосипеде ездить ему нравится: он считает, что это хорошо влияет на сердечную деятельность.

Луиза погружается в задумчивость. Я выпиваю две чашки чая, мою посуду и уже подумываю, не отчалить ли домой, как она вдруг подходит ко мне сзади и обняв, кладет подбородок мне на плечо.

— Не получается, — грустно замечает она.

Она просит меня подождать дня три, а потом она мне сообщит. Кивнув, я, как побитая собака, плетусь в свою конуру. Я безнадежно люблю Луизу и мне панически страшно от мысли, что я могу ее потерять. Три дня пытаюсь привести в порядок свои мысли о нас, построить гавань, укрывшую бы меня от ревущих штормов, в которой можно тихонько покачиваться на волнах и любоваться видом. Но перед глазами — только лицо Луизы. Она не хочет поддаваться спокойному осмыслению. Откуда я могу знать, что она решит? Весь мой ужас по-прежнему вываливается на нее. Мне все еще хочется, чтобы нашу экспедицию вела за собой она. Так почему же мне трудно принять, что мы с нею вместе — уже на дне морском? Утонули друг в друге. Мне понятие судьбы не по душе. Мне не хочется верить в нечто фатальное, я хочу выбирать самостоятельно. Однако предположим, что выбирать нужно Луизу. Но ведь если выбор так груб — Луиза или не Луиза, — то и нет никакого выбора.

В первый день я сижу в библиотеке, пытаюсь работать над переводом, но в блокноте записываю лишь то, что меня по-настоящему тревожит. Внутри все сжимается от страха. Тяжелого страха, что я больше ее не увижу. Но нет, я не нарушу обещания. Не буду ей звонить. Я оглядываюсь вокруг — множество голов усердно склонилось над книгами. Брюнет, блондин, каштановая головка, чья-то лысина, парик. Где-то в отдалении мелькнуло яркое рыжее пламя. Я точно знаю, что это не Луиза, но не могу отвести глаз от этого цвета волос. Меня это утешает — как ребенка в чужом доме может утешить плюшевый медвежонок. Это не мое, но похоже на мое. А если прищуриться, то все своды озаряются красными всполохами. Я чувствую себя зернышком померанца. Говорят, что на самом деле, Ева откусила не яблоко, а померанец — плод чрева, и себе на погибель я хочу лишь вгрызаться в тебя.

— Ну, что я могу поделать? Я люблю ее!

Господин в вязаном жилете, сидевший напротив, поднял голову и нахмурился. Заговорив вслух, я нарушаю правила. Хуже, ведь я разговариваю вслух с собой. Поспешно собрав книги, я бросаюсь вон из зала. Под подозрительными взглядами служителей выскакиваю наружу и сбегая по ступенькам между массивными колоннами Британского музея. По дороге домой убеждаю себя, что мне не на что рассчитывать, я больше никогда не услышу о Луизе. Она уедет с Эльджином в Швейцарию и родит ребенка. Год назад она по настоянию мужа ушла с работы — они хотели ребенка. Но у нее случился выкидыш, и она больше не желала такого. Она твердо заявляла, что детей иметь не хочет, и приводила просто неотразимый довод: «А вдруг ребенок будет похож на Эльджина?»

Доводы... Я как в кошмаре Пиранези: логичные тропы и нужные ступени не ведут никуда. Я поднимаюсь по мучительным лестницам к дверям, и те открываются в ничто. Я понимаю, что дело отчасти в моих же старых ранах, что начинают ныть. Теперь ситуация снова отдает Вирсавией. Та всегда просила у меня время, чтобы принять окончательное решение, а потом появлялась с ворохом компромиссов. Луиза же, понятно, на компромисс не пойдет. Она просто исчезнет.

А десять лет брака — это очень долго. Я, например, не могу беспристрастно описать Эльджина, доверять мне в этом не стоит. К тому же я ведь не знаю того Эльджина, за которого она когда-то вышла замуж. Трудно счесть ничтожеством человека, которого она когда-то любила, потому что если так, то и я могу оказаться ничтожеством. Ну, по крайней мере я не давлю на нее и не принуждаю оставить мужа. Пусть это она решит сама.

У меня был когда-то дружок по прозвищу Чокнутый Фрэнк. Его вырастила семья карликов, хотя в нем самом было шесть футов росту. Он души не чаял в своих приемных родителях и носил их обоих на плечах. Так мы и встретились на выставке Тулуз-Лотрека в Париже. Мы пошли с ним в бар, потом — еще в один, напильсь, а позже, лежа в постели в дешевой гостинице, он мне признался в своей страсти к миниатюрным созданиям.

— Будь ты чуть поменьше, цены бы тебе не было, — сказал он мне.

На мой вопрос, всегда ли он берет с собой родителей, он ответил, что да, поскольку они не занимают много места в комнате и помогают ему находить друзей. И пояснил, что сам очень

застенчив.

Телом Фрэнк походил на быка: сходство усиливалось тем, что в соски его были продеты большие золотые кольца. К сожалению, кольца эти он стянул тяжелой золотой цепью, так что общая картина напоминала не воплощенную маскулинность, а сумочку с надписью «Шанель» из универмага.

Фрэнку не хотелось нигде задерживаться надолго. Вообще-то ему хотелось, чтоб в каждом порту захода было, где кинуть кости. Точные координаты его не волновали. Фрэнк считал, что любовь придумали для того, чтобы дурачить людей. Он верил только в дружбу и в секс.

— Разве не очевидно, что люди куда лучше относятся к друзьям, чем к любовникам?

Предостережения его запоздали, поскольку меня угораздило в него влюбиться. Мне он казался образцом истинного бродяги: мешок с добычей в одной руке, другой машет на прощание. Фрэнк нигде подолгу не задерживался, и в Париж заехал всего два месяца. На мою просьбу отправиться со мной в Англию он рассмеялся и сказал, что Англия годится только для супружеских пар.

— Я должен быть свободным, — сказал он.

— Но ты ведь таскаешь везде своих родителей.

Фрэнк уехал в Италию, а я — домой в Англию. Тоска терзала меня целых два дня, пока не пришла мысль: ведь это мужчина, да еще и с карликами — зачем мне он? Я что — хочу мужчину с золотыми цепями на груди, которые бренчат на каждом шагу?

Это было много лет назад, но мне до сих пор стыдно. Секс можно принять за любовь, а может, чувство вины заставляло меня называть секс любовью. Богатый опыт, казалось бы, уже должен был подсказать мне, что происходит у нас с Луизой. Давно пора было повзрослеть. Так почему тогда я чувствую себя, как монашка-девственница?

На второй день моих мучений я беру с собой в библиотеку пару наручников и приковываю себя к стулу. Отдаю ключ джентльмену в вязаном жилете и прошу расковать меня не раньше пяти часов. Объясняю, что у меня горит работа, и если я не закончу перевод, один советский литератор не сможет получить убежище в Великобритании. Джентльмен ничего не отвечает, но ключ берет. Однако примерно через час я понимаю, что он куда-то испарился.

Я продолжаю работать, и сосредоточенная тишина в зале дает моим мыслям некоторую передышку. Интересно, почему наш мозг не в состоянии сам решить, о чем ему думать? Почему именно когда вы безнадежно мечтаете избавиться от какой-нибудь мысли, она-то и лезет вам в голову? Траектория Луизы полностью затмила все остальные мои умопостроения. Мне нравятся интеллектуальные задачи, обычно я работаю быстро и легко. В прошлом, какие бы неприятности меня ни одолевали, работа всегда приносила успокоение. Но теперь положение изменилось. Я напоминаю себе уличного громилу, которого следует держать под замком.

Как только в голову приходит имя «Луиза», я выстраиваю кирпичную стену. После нескольких часов таких упражнений в моей голове не остается ничего, кроме кирпичных стен. Кроме того, левая рука страшно затекла и распухла от врезавшегося в нее наручника. И никаких признаков джентльмена напротив. Я знаками подзываю служителя и шепотом объясняю ему ситуацию. Тот через некоторое время возвращается с помощником, они вдвоем поднимают меня вместе со стулом и, словно в портшезе, несут к выходу из читального зала Британской библиотеки. Люблю ученых — никто из читателей даже не поднял головы.

В служебном кабинете я пытаюсь объяснить, что произошло.

— Вы член компартии? — подозрительно глядя на меня, спрашивает старший администратор.

— Нет, я не принадлежу никакой партии.

Он освобождает меня от наручников и обвиняет в злостной порче имущества читального зала. Мои попытки склонить его к формулировке о «случайном повреждении» не приносят результата. Заполнив бланк рапорта, он торжественно объявляет, что мне надлежит сдать свой читательский билет.

— Я не могу отдать вам билет. Переводы — то, на что я живу.

— Вам следовало подумать об этом до того, как вы приковали себя к имуществу нашей библиотеки.

Мне ничего не остается, как отдать ему билет и взять бланк заявления об апелляции. Можно ли было пасть ниже?

Еще как можно. Всю следующую ночь я слоняюсь в окрестностях луизиного дома и, как частный

сыщик, разглядываю, в каких окнах гаснет свет, в каких — зажигается. Интересно, она у него в постели? А мне-то какое дело? Всю ночь напролет я веду безумный внутренний монолог, и к рассвету сердце мое превращается в малюсенький комок — не больше горошинки, настолько крохотный, что в нем уже нет места для надежды.

К утру в совершенно разбитом состоянии я оказываюсь дома. Меня бьет озноб — надеюсь, начинается лихорадка. Перспектива проваляться в беспамятстве несколько дней кажется мне радужной — может, будет хоть не так больно. А если повезет, я вообще умру. «Люди время от времени умирают, их поедают черви, но все это происходит не от любви». Шекспир ошибался. Я тому — живое доказательство.

— Нет, ты можешь быть только мертвым доказательством, — возражаю я себе. — Если ты не умрешь, то прав окажется он.

Я сажусь, чтобы написать завещание и оставить все Луизе. Можно ли утверждать, что я в здравом уме и трезвой памяти? Я осторожно трогаю лоб. Нет. На всякий случай смотрю на себя в зеркало. Нет. Лучше всего задернуть занавески и завалиться в постель с бутылкой джина.

Именно в таком положении и застаёт меня Луиза, придя через пару дней в шесть вечера. Она звонила, начиная с полудня, но мое опьянение было столь сильным, что звонки до меня просто не доходили.

При виде ее первые мои слова:

— Они з-забрали мой б-билет! — После чего я раздражаюсь слезами и падаю в ее объятия. Ей не остается ничего иного, как отвести меня в ванную, а затем уложить в постель и дать снотворного. Сквозь туман, обволакивающий мозг, я слышу, как она говорит:

— Я тебя никогда не отпущу.

Никто толком не знает, какие силы сводят людей вместе. Имеется множество теорий; астрология, химия, взаимная тяга, биологическая потребность. Есть тысяча журналов и учебников, где объясняется, как лучше подобрать себе партнера. В рекламах брачных агентств говорится, что у них самый лучший научный подход, как будто наличие компьютера превращает вас в ученого. Старые любовные романы исполняются с помощью цифровых методов передачи информации. Так зачем вам выбирать партнера самому, когда можно положиться на науку? Вскоре такой псевдо-лабораторный подход к организации свиданий на основе детальных характеристик может смениться и настоящим экспериментом: хоть результаты и окажутся необычными, но участники вполне поддаются дрессировке. По крайней мере, так они утверждают. (См. аналогичные уверения по поводу расщепления атома, генной инженерии, гормональных исследований или даже скромных катодных лучей.) Да чего там? Виртуальная Реальность на марше!

Уже сейчас вы можете войти в виртуальный мир, надев на голову грубый шлем, наподобие водолазного, что носили в 40-е годы, и специальную перчатку, напоминающую садовую. Экипировавшись таким образом, вы окажетесь внутри панорамного телевизора с трехмерными программами, объемным звучанием и множеством разных предметов, которые можно потрогать и подвигать. Вы будете смотреть кино не с фиксированного места, а лазить по съемочной площадке и даже перестраивать ее, если не понравится. Чувства будут уверять вас, что вы — в реальном мире. Тот факт, что на вас водолазный шлем и садовые перчатки, не меняет дела.

Немного погодя всю эту технику заменят на маленькую комнату, в которую можно будет заходить, как и в любую другую. Правда, это будет разумное пространство. Эта комната будет тем виртуальным миром, который вы выбрали для себя. Если захотите, то можете проводить в созданном компьютером мире дни и ночи. Сможете попробовать жить виртуальной жизнью с виртуальным возлюбленным. Гулять по виртуальным магазинам, иметь виртуальную семью, родить ребенка или двух, и даже определить, не гей ли вы. Или одиночка. Или натурал. Прочь сомненья — у нас есть симуляторы.

А как же секс? А что секс? Наденете какой-нибудь Теле-Дилдо, подключитесь к розетке — и попадете в миллиардную групповуху в оптоволоконной сети, опутавшей весь мир, или встретитесь со своим партнером в Виртуальности. Реальные тела наденут скафандры из тысяч крохотных тактильных детекторов на квадратный дюйм. Волоконно-оптические нити будут передавать ваши импульсы и получать чужие. Виртуальная эпидерма столь же чувствительна, как и внешний покров вашей кожи.

Что до меня, то, всецело признавая свое несовершенство и старомодность, я все же предпочту

обнимать тебя живую и настоящую и гулять по настоящим лугам под самым натуральным английским дождем. Я уж лучше пересеку океан, чтобы встретиться с тобой, чем буду лежать в своей комнате, соединяясь с тобой через модем. Наука говорит, у нас есть свобода выбора, но что я смогу выбрать со всеми их изобретениями? Моя жизнь мне не принадлежит, даже собственную реальность мне предстоит забирать у них силой. Думаете, я луддит? Да нет, вовсе я не собираюсь крушить механизмы, просто не хочу чтобы механизмы сокрушили меня.

Август. Улицы жарят нас, как сковородки. Луиза потащила меня в Оксфорд, подальше от Эльджина. Она не сообщила, что у них там произошло за эти три дня, хранила молчание, как партизан. Она улыбалась, спокойная, собранная и скрытная. Это наводило на подозрения. Мне казалось, что она уже решила остаться с Эльджином, а меня выволокла на эту прогулку, как на римские каникулы, чтобы сказать мне «прощай». Я чувствую, как каменеет мое сердце.

Мы гуляли, купались в реке, читали вместе, голова к голове, как это делают влюбленные. Говорили обо всем на свете, кроме нас самих. Мы находились в виртуальном мире, где все разрешено, лишь реальная жизнь под запретом. Но в виртуальной реальности мне не составило бы труда взять Эльджина за шкуру и выкинуть его за рамки игры. Краем глаза я вижу, как он выжидает, выжидает. Сидит на корточках, нависнув над нашей жизнью, ждет, когда мы шевельнемся.

В снятой нами комнате из-за несносной жары широкие окна были открыты нараспашку. Снаружи доносились плотные звуки обычного летнего вечера: фырчание моторов машин, удары крокетного мяча со спортивной площадки, внезапный отрывистый смех, а над нами кто-то играл Моцарта на расстроенном фортепьяно. Какая-то собака — гав-гав-гав — гонялась за газонокосилкой. Положив голову тебе на живот, я слышу, как внутри у тебя переваривается ланч.

Ты говоришь:

— Я собираюсь уйти.

О, да, да, ты вновь вернешься в опостылевшую раковину.

Ты говоришь:

— Я собираюсь уйти от него, ведь я люблю тебя, и из-за этого вся остальная моя жизнь кажется ложью.

Я прячу эти слова в потайной карман. Я вытаскиваю их на свет втайне от всех и люблюсь ими, как воришка. Их блеск не меркнет. Ничто в тебе не меркнет. Ты и сейчас — цвета моей крови. Ты и есть моя кровь. Когда я смотрю на себя в зеркало, то вижу не свое лицо. Твое тело раздвоилось. Одно стало моим, другое твоим. Как я могу определить, где чье?

Мы вернулись вместе ко мне домой — из прошлой жизни ты взяла только одежду, что была на тебе. Эльджин настаивал, чтобы ты не брала ничего, пока не будет завершен бракоразводный процесс. Ты предложила ему подать на развод по супружеской неверности, но он предпочел формулировку о неразумном поведении.

— Это поможет ему сохранить лицо, — пояснила ты. — Измена ставит его в глупое положение. С изменой он рогоносец, а с неразумным поведением — невинная жертва. Лучше иметь жену-психопатку, чем неверную жену. Иначе что он скажет друзьям?

Не знаю, что он сказал друзьям, зато хорошо знаю, что он сказал мне. Мы с Луизой прожили вместе уже почти пять месяцев и были невероятно счастливы. Близилось Рождество, и мы украшали квартиру гирляндами из венков остролиста, переплетая их ветками плюща. У нас было очень мало денег: переводов мне перепало меньше, чем обычно, а Луиза выходила на работу только в начале следующего года. Она нашла место преподавателя истории искусств. Но ничто не омрачало нашей радости. Мы были возмутительно счастливы. Мы пели и играли, мы гуляли по городу, любуясь архитектурой и разглядывая людей. Мы владели сокровищем, и этим сокровищем были мы сами.

Сейчас я вижу те дни в их кристальной чистоте и ясности. В какой момент я ни взглядываю на этот кристалл, он поворачивается ко мне новой цветной гранью. Луиза в голубом платье. Луиза на фоне закатного неба, похожая на героиню прерафаэлитов. Свежие зеленые ростки нашей с ней жизни и поздние желтые ноябрьские розы. Дальше краски блекнут, и я могу различить только ее лицо. Потом слышу ее голос, хрустящий, как свежий снег: «Я тебя никогда не отпущу!»

В канун Рождества Луиза решила навестить свою мать, которая всегда ненавидела Эльджина — но лишь до того момента, как дочь сообщила, что разводится. Луиза надеялась, что предпраздничное настроение поможет смягчить их разногласия, и вот в сиянии жестких искорок звезд она, закутавшись в гриву собственных рыжих волос, выходит из дому. Улыбаясь, я машу ей вслед, воображая, как прекрасно она смотрелась бы в русских степях.

Я уже собираюсь закрыть дверь, как вдруг ко мне приближается какая-то тень. Это Эльджин. У меня вовсе нет желания приглашать его в дом, но он здоровается со мной с такой не свойственной ему и потому подозрительной веселостью, что у меня волосы встают дыбом. Так животные чуют опасность. Я решаю, что ради безопасности Луизы лучше разобраться с ним без нее.

Я наливаю ему выпить, и он начинает трепаться, пока мое терпение не лопається. Я спрашиваю его прямо, чего он хочет. Поговорить о разводе?

— В некотором смысле, — улыбается он. — Думаю, тебе кое-что полезно узнать. Кое-что, о чем Луиза тебе не сказала.

— Луиза полностью откровенна со мной, — холодно замечаю я. — Так же, как и я с ней.

— Очень трогательно, — отвечает он, разглядывая кубики льда в своем бокале скотча. — Тогда тебя не должно удивить, что она больна раком?

В двух сотнях миль от поверхности земли исчезает сила тяжести. Законы притяжения не работают. Вы можете медленно-медленно крутить сальто — кувыркающееся тело, в невесомости падающее в никуда. Лежа на спине, вы видите, как у вас над головой взбрыкивают ваши ноги. Вы медленно растягиваетесь, вы удлиняетесь и расширяетесь, части вашего тела уплывают с привычных мест, и уже нет никакой связи между вашим плечом и рукой. Вы рассыпаетесь на косточки, ваше прежнее тело распадается на куски, вы разлетаетесь в стороны, и ничто вас больше не может удержать.

Где я? Что со мной? Я ничего не узнаю вокруг. Исчез мой привычный понятный мир, маленький аккуратно кораблик, оснащенный мной. Что означает это пространство, где все движется так замедленно? Почему мои руки то поднимаются, то опускаются, вверх-вниз, вверх-вниз, будто я пародирую Муссолини? Кто этот человек, чьи глаза смотрят на меня как револьверные дула, чей рот открывается, будто газовая камера, чьи слова, резкие и смертоносные, застревают у меня в горле? В комнате зловоние. Не хватает воздуха. Он отравляет меня, и я не могу двинуться с места. Ноги меня не слушаются. Где мои привычные опоры? Я борюсь с отчаянием безнадежности. Пытаюсь опереться на что-нибудь, но тело проскальзывает мимо. Хочу ухватиться за что-нибудь прочное, но прочного здесь больше ничего нет.

Факты Эльджин, факты!

Лейкемия.

Как давно?

Около двух лет.

Она не больна.

Пока нет.

Какая лейкемия?

Хронический лимфоаденоз.

Но она выглядит совершенно здоровой.

Некоторое время симптомы могут не проявляться.

С ней все в порядке.

Я брал кровь на анализ после ее первого выкидыша.

Первого?

У нее была чудовищная анемия.

Не понимаю.

Редкий случай.

Она не больна.

У нее уже сейчас увеличены лимфоузлы.

Она умрет?

Они пока безболезненны.

Она умрет?

Селезенка совсем не увеличена. Это хорошо.

Она умрет?

Слишком много Т-лимфоцитов.

Она умрет?

В зависимости от...

От чего?

От тебя.

Ты имеешь в виду, что мне надо заботиться о ней?

Я имею в виду, что я позабочусь о ней.

Эльджин ушел, а я все сижу и сижу под рождественской елкой, тупо глядя на раскачивающихся ангелов и свечи-леденцы. Его план был прост: если Луиза вернется к нему, то он сможет обеспечить ей то, чего нельзя получить ни за какие деньги. Она поедет с ним в Швейцарию, где сможет получить лечение на уровне последних достижений медицинской науки. Будь она сколь угодно богата, она не могла бы этого получить, но как жена Эльджина она это получит.

Сейчас рак лечат с помощью жестоких и токсичных методов. Если Луиза подвергнется обычному лечению, она должна будет пройти химиотерапию. Если ее селезенка начнет увеличиваться, то может начаться воспаление, и не исключено, что ее придется удалять. Она будет страдать от анемии, от гематом, от кровотечений, она будет страдать непрерывно. У нее начнутся рвота, тошнота и запоры. В конечном итоге химиотерапия приводит к повреждению костного мозга. Она исхудает, моя красивая девочка, побледнеет, у нее будет повышенная утомляемость, она постоянно будет подавлена. Хроническая лимфатическая лейкемия неизлечима.

Луиза появилась на пороге с лицом, покрасневшим от мороза. На щеках сверкал яркий румянец, а губы, когда она поцеловала меня, были ледяные. Она засунула замерзшие руки мне под рубашку, чтобы согреться, а мне показалось, что ее руки клеймят меня каленым железом. Она рассказывала, что на улице холодно, звезды ярко сияют на чистом и ясном небе, а луна свисает, как сосулька с крыши мира.

Мне не хотелось плакать. Мне хотелось мягко и спокойно с ней поговорить. Но ничего не вышло: мои быстрые горячие слезы пролились на ее холодную кожу, словно укоряя за причиненные мне страдания. Несчастные эгоистичны, горе всегда поглощено самим собой. Отчего эти слезы? Может быть, от сознания безвыходности.

— Здесь был Эльджин. Он сказал, что у тебя рак.

— Это не так серьезно, — поспешно ответила она. За кого она меня принимает?

— Рак — несерьезно?

— У меня нехарактерные симптомы.

— Почему ты меня не предупредила? Разве ты не могла сказать мне?

— Это не серьезно.

Впервые между нами повисла напряженная тишина. Гнев овладел мною, но мне удалось подавить его.

— Я жду результатов анализов. Нужно сделать еще некоторые тесты. Я пока не получила окончательное заключение.

— Оно у Эльджина. Он сказал, ты не хочешь знать результатов.

— Эльджину я не доверяю. Хочу провериться в другом месте.

Я пристально смотрю на нее. Непроизвольно сжимаю кулаки так, что ногти больно врезаются в кожу. Я смотрю на ее лицо, но на его месте мне мерещится квадратное лицо Эльджина в профессорских очках. И вместо изгиба ее губ я вижу его торжествующую усмешку.

— Я хотела бы с тобой все это обсудить, — говорит она.

Всю ту долгую ночь, пока темно-синее небо не превратилось в перламутрово-серое и не взошло слабое зимнее солнце, мы лежали, обнявшись, укрытые дорожным пледом, и делились друг с другом своими страхами. Она не желает возвращаться к Эльджину — на этом она стояла железно. Она знает уже очень много об этой болезни, и уверена, я тоже все изучу. И мы сможем противостоять беде вместе. Это были отважные и утешительные слова — в маленькой, голой и холодной комнатке, замкнувшей в себе всю нашу жизнь, нам отчаянно требовалось утешение. У нас ничего нет, а Луиза больна. Она была уверена, что полученные после развода деньги покроют все расходы. У меня такой уверенности не было, но не было и сил возражать. Пока мне достаточно того, что она рядом.

На следующий день, когда Луиза ушла, мне пришлось отправляться к Эльджину. Он, казалось,

ожидал моего прихода. Мы прошли в его кабинет. На компьютерном экране на сей раз была новая игра под названием «Лаборатория». Добрый ученый (за него выступал игрок) и безумный ученый (его роль исполнял компьютер) сражаются за то, чтобы создать первый в мире генетически модифицированный помидор. Если ему имплантировать гены человека, этот помидор превращается в сэндвич, соус или пиццу с тремя наполнителями на выбор. Однако этично ли все это?

— Нравится игра? — спросил Эльджин.

— Я насчет Луизы.

Он выложил на стол результаты тестов. По его прогнозам, у нее было в запасе почти сто месяцев. Он подчеркнул, что сейчас Луиза относится к своему состоянию весьма беззаботно, раз чувствует себя хорошо, но когда она начнет терять силы, это изменится.

— Но зачем превращать ее в инвалида, пока она еще здорова?

— Потому что, если мы начнем ее лечить сейчас, есть шанс предупредить болезнь. Кто его знает?

Он пожал плечами, улыбнулся и нажал какие-то клавиши на клавиатуре. Помидор злобно ослабил ему.

— А ты не знаешь?

— Рак непредсказуемая болезнь. Тело восстает против самого себя. Мы пока не можем этого понять. Мы знаем, что происходит, но не знаем, почему, или каким образом можно остановить процесс.

— Но тогда ты ничего не можешь предложить Луизе.

— За исключением ее жизни.

— Она не вернется к тебе.

— А вы не слишком стары, чтобы разыгрывать романтическую мечту?

— Я люблю Луизу.

— Тогда спаси ее.

Эльджин поудобнее устроился перед экраном. Аудиенция окончена.

— Проблема в том, — сказал он, — что если я выберу неверный ген, этот помидор зальет меня томатным соком. Понимаешь, да?

Луиза, любимая!

Я люблю тебя больше жизни. Никто не приносил мне столько счастья, сколько ты. Мне даже в голову не приходило, что такое счастье возможно. Можно ли потрогать любовь на ощупь? Для меня наши чувства осязаемы, я могу ощутить их тяжесть, как могу себе представить, что я держу твою голову в своих руках. Я цепляюсь за нашу любовь, как скалолаз за свой трос. Мне известно, что тропа наша будет крутой, но насколько отвесным окажется утес, и представить было невозможно. Я знаю, что мы взойдем на вершину, но подтягиваться тебе придется самой.

Сегодня вечером я уеду. Не знаю, куда. Знаю только, что не вернусь обратно. Тебе не нужно съезжать с квартиры. Я оставляю все необходимые распоряжения. Ты в полной безопасности у меня дома. У меня, но — увы, не со мной. Если я останусь здесь, уйдешь ты — больная, без поддержки. Наша любовь не должна стоить тебе жизни. Я не смогу этого вынести. Если бы это была моя жизнь, она была бы отдана за тебя без капли сожаления. Ты пришла ко мне, как была, и этого хватило. Ничего большего не надо. Никаких жертв. Ты уже подарила мне все.

Пожалуйста, поезжай с Эльджином. Он дал слово сообщать мне, как ты будешь себя чувствовать. Я буду думать о тебе каждый день, по много раз. Отпечатки твоих пальцев повсюду на моем теле. Твоя плоть — это моя плоть. Ты расшифровала меня, и меня теперь просто прочесть. Это очень простое сообщение; просто моя любовь к тебе. Я хочу, чтобы ты была жива. Прости мне мои ошибки. Прощай.

Запаковав свои пожитки, я сажусь на поезд в Йоркшир. Я заметаю свои следы, чтобы Луиза не могла меня найти. С собой я беру свою работу и деньги, которые остались у меня после оплаты аренды дома на год вперед. Их должно было хватить месяца на два. Снимаю крохотный коттедж и бронирую почтовый ящик для связи со своими издателями и с одним другом, который был посвящен в мои проблемы и предложил свою помощь. Потом подыскиваю работу в небольшом модном винном баре. Для тех, кто считает, что просто рыба с жареной картошкой — это для рабочего класса. Мы же подавали *romme frite*⁶ с дуврской камбалой, которая и близко не подплывала к дуврским берегам.

⁶ Жареный картофель (*фр.*).

Нам подавали замороженных креветок, столь глубоко вмерзших в лед, что временами мы по ошибке кидали этот лед в напитки.

— Этот напиток сейчас в моде, сэр! «Виски с креветками!»

После этого попробовать хотелось каждому.

Моя работа состояла в том, чтобы вытаскивать из холодильника охлажденное «фраскати» и расставлять его на крошечных столиках, а также принимать заказы на ужины. Мы предлагали «Средиземноморский» (рыба с жареной картошкой), «Паваротти» (пицца и картошка), «Староанглийский» (сосиски с жареной картошкой) и «Любовный особый» (свинные ребрышки на двоих с жареной картошкой и яблочным уксусом). Где-то имелось и порционное меню, но никто его никогда не мог найти. По вечерам дверь с красивой зеленой обивкой, что вела на кухню, то и дело открывалась и закрывалась, и из зала можно было видеть двух деловитых поваров с колпаками, напоминающими башни.

— Подбрось-ка еще одну пиццу, Кев.

— Она просит еще порцию кукурузы.

— Эй, дайте-ка сюда открывашку!

На кухне беспрерывно попискивало множество микроволновок, установленных целыми батареями — как в центре управления космическими полетами НАСА. Однако этот шум перекрывался гипнотическим гулом басовых динамиков из бара. Никто из посетителей ни разу не поинтересовался, как готовятся ресторанные блюда. Да если бы даже кто и заинтересовался, его успокоили бы открыточкой с видом кухни, подписанной самим шеф-поваром. Конечно, у нас кухня была совсем не такая, но она вполне могла оказаться нашей, а хлеб был таким белым, что резало глаза.

Чтобы преодолевать двадцать миль от работы до снятой мной развалюхи, мне пришлось купить велосипед. Моей целью было доводить себя до изнеможения, когда уже нет сил даже думать. Однако в каждом обороте колеса мне по-прежнему виделась Луиза.

Внутри моей развалюхи имелись стол, два стула, протертый коврик и кровать с продырявленным матрасом. Когда становилось холодно, нужно было рубить дрова и разводить огонь. Коттедж много лет простоял заброшенным. Никто не хотел здесь жить, и только дураку могло прийти в голову взять его в аренду. Здесь не было телефона, а ванна стояла посреди комнаты, разгороженной пополам. Из щелей сквозило, окна были плохо пригнаны. Пол под ногами скрипел почти как в комнате ужасов. Здешняя сырая и мрачная атмосфера подходила мне идеально. Владельцы, сдавшие мне жилье, наверняка усомнились в моей нормальности. И они были правы.

У очага стояло засаленное кресло с обвисшим чехлом. Так иногда выглядят старики, вырядившиеся в одежду, что была им впору в молодости. Дайте же мне прикорнуть в кресле у огня, мне не хочется вставать, не хочется двигаться. Я хочу навеки остаться здесь, на продавленном сиденье, постепенно истлевая и сливаясь с выцветшим узором обивки. Если бы вам удалось заглянуть в комнату сквозь пыльное стекло, вы увидели бы только спинку кресла и мою голову над ней. Вы могли бы наблюдать, как мои волосы редеют, истончаются, седеют, выпадают. Голова мертвеца на спинке кресла с розами посреди навеки застывшего сада. Какой смысл мне двигаться, если движение означает жизнь, а жизнь подразумевает надежду? У меня не было ни жизни, ни надежды. Не лучше ли тогда рассыпаться прахом вместе с обшивкой, превратиться в пыль, которую развеет ветер и которую вы будете вдыхать вместе с воздухом? Каждый день вы вдыхаете прах мертвых.

Каковы признаки живого? В школе меня учили, что основными характерными особенностями живых организмов являются функции выделения, питания, размножения, дыхания, а также способность к росту и реакция на раздражение. Не очень-то живой список. Если здесь перечислено все, что характеризует жизнь, то я с тем же успехом могу считать себя мертвецом. И как же с другими важными для человека вещами, например, с жаждой быть любимым? Ведь это не вписывается в рубрику «Размножение». У меня нет никакого желания размножаться, но я очень нуждаюсь в любви. Размножение. До блеска отполированная и сияющая чистотой столовая в стиле королевы Анны. Настоящее дерево. Но разве этого я хочу? Образцовая семья: в комплект для простой домашней сборки входят двое взрослых, двое детей. Не хочу шаблонов, хочу полномасштабный оригинал. И не желаю размножаться, мне хочется создать что-то совершенно новое. Сражаюсь со словами, но боевой дух из меня весь вышел.

Я пытаюсь навести в жилище относительный порядок. Нахожу в запущенном саду зимний сорт жасмина и, срезав ветку, приношу ее в дом. Она напоминает мне монашенку в трущобах. Купив молоток и фанеру я заколачиваю самые большие дыры. Теперь можно сидеть у огня, не опасаясь, что продует насквозь. Большое достижение. Марк Твен устроил в своем доме камин прямо под окном, что создавало иллюзию снега, падающего прямо в языки пламени. На меня же через дыру в крыше

падали капли дождя, но это не создавало никаких иллюзий. Мне просто было на это наплевать.

Через несколько дней после моего приезда снаружи послышался какой-то вой. Он, видимо, должен был звучать дерзко и вызывающе, но не получилось. Пришлось сунуть ноги в сапоги, схватить фонарь и выскочить в январскую темень. На дворе была слякоть, ноги вязли в грязи. Чтобы не затопило дорожку к дому, мне каждый день приходилось разбрасывать по ней золу. Теперь она мешалась с грязью, сточная канава под самым крыльцом переполнилась. Резкие порывы ветра срывали с крыши черепицу.

Душераздирающие звуки издавал тощий и облезлый кот, прижавшийся к стене моего дома — если разбухшую от влаги кирпичную кладку, скрепленную лишайником, можно назвать стеной. В его глазах читались страх и надежда. Он был насквозь мокрый и дрожал крупной дрожью. Я не сомневаюсь и приподнимаю его за шкуру. Загрибок — это за него меня взяла Луиза.

При свете я обнаруживаю, что мы с котом невероятно перепачканы. Ванна — когда же это было в последний раз? Вся одежда грязная и потрепанная, кожа какая-то серая, волосы висят неряшливыми космами. У кота один бок вымазан в масляной краске, грязная шерсть на пузе свалась.

— Ну, что ж, значит, сегодня в Йоркшире будет банный день, — говорю я и волоку кота к старой эмалированной ванне на трех чугунных ножках. Укороченную четвертую подпирает томик Библии. «Христос, прими меня к себе — хочу сокрыться я в Тебе». После долгих увещаний и чертыханий, а также при помощи щепок, старых газет, керосина и спичек, мне удается раскочегарить древний бойлер. С грохотом, фыркая и отплеываясь, он все-таки начинает деловито фырчать, и облупленная ванная наполняется едкими клубами дыма. Кот полными ужаса глазами наблюдает за моими непонятными действиями.

Но вот омовение закончено, мы оба заворачиваемся в чистое — он в мое кухонное полотенце, а я — в самую роскошную вещь в моем доме — пушистую банную простыню. Голова кота из-за мокрой прилипшей шерсти сильно уменьшилась в размерах. У него порвано одно ухо, изуродован глаз. Он беспрерывно дрожит, хотя я стараюсь говорить с ним мягко, и речь у нас идет о блюде с молоком. Чуть попозже, налакавшись до отвала, он без сил разваливается на шаткой кровати и учится мурлыкать, зарывшись в мое пуховое стеганое одеяло — пух внутри так спрессован, что даже не шевелится, когда я его встряхиваю. Всю ночь кот спит у меня на груди. Я же не могу сомкнуть глаз. Не даю себе заснуть, чтобы окончательно измучиться и под утро пропустить все тяжелые сны человека, которому есть что прятать. Бывают такие люди — днем морят себя голодом, а ночью понимают, что лишённые пищи тела произвольно грабят холодильники, пожирают сырые тушки, кошачью еду, туалетную бумагу — что угодно, лишь бы удовлетворить потребность в еде.

Спать рядом с Луизой было наслаждением, часто приводившим к сексу, но совершенно отдельным от него. Ее нежное тепло, ее мягкая кожа — все в ней идеально подходило для меня. Отодвигаться от нее лишь для того, чтобы через пару часов снова прижаться к изгибу ее спины. Ее запах — особый запах Луизы. Ее волосы. Рыжее покрывало, под которым мы умещались вдвоем. Ее ноги. Она никогда не брила их до полной гладкости. Когда волосы начинали отрастать, колючий пушок приводил меня в восторг. Она не давала им вырасти, и я так и не знаю, какого они цвета, но я до сих пор чувствую их. Чувствую, как сплетаются наши ноги, чувствую ее всю, вплоть до берцовых костей, наполненных костным мозгом, где образуются белые и красные кровяные тельца. Алый и белый цвет. Цвета Луизы.

В пособиях по скорби вам могут посоветовать класть рядом с собой подушку: не вполне «супружница», как называют в тропиках валик, что специально кладут между ног, который впитывает излишки пота. «Подушка поможет вам в долгие часы одиночества. Во время сна вы бессознательно будете утешаться, чувствуя ее рядом с собой. И когда вы проснетесь, кровать не покажется вам слишком широкой и одинокой». Кто, интересно бы знать, пишет такие книги? Они что, всерьез думают, эти невозмутимые, якобы сочувствующие вам советчики, что дурацкий валик или подушка могут исцелить от разбитого сердца? Не желаю никаких подушек — хочу живую, теплую, трепещущую плоть. Хочу почувствовать твою руку в темноте, подкатиться к тебе ночью, чтобы ты притянула меня к себе. Когда ночью я ворочаюсь на кровати, она кажется мне целым континентом. Бесконечное белое пространство там, где должна быть ты. Я переползаю по нему, в надежде тебя отыскать, но тебя нет. Нет, это не игра, ты не спряталась, не выскочишь неожиданно откуда-нибудь, чтобы удивить меня. Моя постель пуста. Я здесь, но постель пуста.

Кот получил кличку Оптимист: он в первый же день добыл где-то кролика, и мы с удовольствием съели его с чечевицей. В тот день мне удается, наконец, сесть за перевод, а вечером, когда я возвращаюсь из ресторанчика, Оптимист ждет меня у порога и не спускает с меня преданных глаз. На какой-то миг, на один короткий миг, я отвлекаюсь, забываю, зачем я здесь и что у меня произошло. На следующий день я еду на велосипеде в библиотеку, но вместо того, чтобы пойти к разделу с

русскими книгами, как было задумано, направляюсь к медицинской полке. Анатомия завораживает меня. Раз уж не удастся забыть о Луизе, лучше погрузиться в нее целиком. В сухих и скупых медицинских терминах я, продравшись сквозь бесстрастный взгляд на сосущее, потеющее, жадное и гадящее тело, нахожу поэму о любви к Луизе. Мне хочется узнать ее глубже, чем кожа, волосы и голос, которых мне так хотелось. Я хочу знать и состав ее плазмы, работу селезенки, ток синовиальной жидкости. Я опознаю Луизу даже через много лет после того, как тело рассыплется в прах.

КЛЕТКИ, ТКАНИ, СИСТЕМЫ И ПОЛОСТИ ТЕЛА

Размножение клеток путем митоза происходит на протяжении всей человеческой жизни. На первоначальных стадиях роста, пока развитие органа не закончено, размножение происходит с большой скоростью. Позже новые клетки образуются только, чтобы заменить отмирающие. Исключение составляют нервные клетки. Они не восстанавливаются.

В секретных отделах своей зубной железы Луиза слишком много о себе воображает. Преданность ее биологии зависит от правильного регулирования, но ее белые лимфоциты превратились в хулиганов. Они больше не подчиняются правилам. Они кишмя кишат в кровеносных потоках, нарушая нормальную работу селезенки и кишечника. В лимфатических узлах их распирает от гордости: ведь там должна была протекать их работа — охранять организм от атак снаружи. Они были гарантией против внешней инфекции. Теперь же они превратились во внутренних врагов. Внутренние органы безопасности совершили переворот. Луиза стала их жертвой.

Позволишь ли ты мне заползти в себя, встать на страже твоих интересов, заманить в ловушку твоих врагов, когда идут в атаку на тебя? Почему я не могу запрудить тот слепой поток, что портит твою кровь? Почему в клапанах сердца нет ворот, на которые можно навесить замки? Тело твоё невинно изнутри и не ведаёт страха. Твои сосуды не проверяют груз, переправляемый по ним, не смотрят содержимое трюмов крови. Твоим складам грозит переполнение, но сторожа их уснули, и убийцы прокрались внутрь. Кто здесь? Дай я подниму повыше свой фонарь. Здесь одна только кровь: красные кровяные тельца переносят кислород к сердцу, там тромбоциты образуют сгустки, а вот и белые тельца, лимфоциты типов Б и Т, в небольшом количестве, как и должно быть, проносятся мимо.

Преданное тебе тело допустило ошибку. Не время ставить в паспортах печати и скучающе поглядывать на небеса. Дальше наступают новые сотни, вооруженные до зубов, — они идут выполнять работу, которую делать не надо. Не надо? Зачем же тогда все это оружие?

Вот близятся они, устремляясь в кровеносные потоки, завязывая потасовки. А драться могут они только с тобой, Луиза. Ты сама стала инородным телом.

Мельчайшие клетки, из которых состоят ткани, видимы только под микроскопом. Однако некоторые ткани, например в полости рта, можно увидеть невооруженным глазом.

Невооруженным глазом. Как часто ты радовала мои похотливые безоружные глаза. Помню, как ты раздетая идешь в ванную, вижу изгиб твоей спины, выпуклость живота. Ты опускалась на меня для осмотра, и я помню шрамы меж бедер твоих — там, где ты упала на колючую проволоку. Будто тебя рвал хищный зверь, вгоняя стальные когти тебе под кожу, чтобы оставить жесткие отметины собственника.

Мои глаза порхали вокруг тебя как две карие бабочки. Мне покорялись расстояния твоего тела — от одного матового побережья до другого. Мне были известны заросли, где, насытившись, можно отдохнуть. То, что видели мои глаза, сохранялось на невидимой карте. Миллионы клеток, из которых состоит твое тело, отпечатались на сетчатке моих глаз. В своих ночных полетах я всякий раз точно знаю, где нахожусь. Твое тело — моя посадочная полоса.

Ткани твоего рта изучены досконально языком и слюной. Мне известны все хребты и долины, гофрированный свод и костяные крепости зубов. Мягкая гладкая внутренность верхней губы прерывалась в одном месте шрамом. Внутренние ткани рта и ануса заживают быстрее других, но пытливого взгляду остаются следы и знаки. А мой взгляд пытлив. Вот та история, что сохранилась шрамом в ловушке твоего рта: покореженный автомобиль с разбитым ветровым стеклом. Единственным свидетелем той аварии остался этот шрам, зазубренный по краям там, где кожа сохранила следы стежков, похожий на шрам дуэлянта.

Мои безоружные глаза считают твои зубы, включая пломбы: резцы, клыки, коренные, малые коренные. Всего должно быть тридцать два. Но у тебя — тридцать один. После секса ты вгрызаешься в пищу с жадностью, как тигрица, и жир стекает у тебя по губам. Иногда ты кусаешь меня, оставляя на моих плечах неглубокие раны. Ты хочешь, чтобы и в этом мы были похожи? Следы твоих укусов я ношу как знаки отличия. Их можно увидеть у меня на плечах, если я сниму рубашку, но заглавное «Л» внутри, в глубине сердца, недоступно невооруженному глазу.

Для удобства описания человеческое тело делят на полости. Мозг расположен в черепной полости. Его границей служат кости черепа.

Позволь мне проникнуть в тебя. Я буду археологом, что раскапывает лабиринты гробниц. Я посвящу свою жизнь исследованию твоих переходов, входов и выходов этого впечатляющего мавзолея — твоего тела. Как тесны скрытые трубы и колодцы в здоровом и юном теле. Даже гибкий палец с трудом нащупывает вход в просторные влажные покои, где скрываются матка, кишечник или мозг.

У старых или больных ноздри расширяются, глазные впадины углубляются, заполняясь озерами мольбы. Обвисает рот, зубы отступают с переднего края обороны. Уши увеличиваются и становятся похожи на раструбы. Тело готовится стать добычей червей.

Раз я бальзамирую твое тело в памяти, то в первую очередь сквозь надлежащие отверстия следует извлечь твой мозг. Сейчас, когда ты для меня потеряна, я не могу дать тебе проявиться — ты должна быть фотографией, а не поэмой. В тебе не будет жизни, как нет ее во мне. И мы вместе, ты и я, будем падать все глубже и глубже в темные пустоты, где раньше находились жизненно важные органы.

Меня всегда приводила в восхищение твоя голова. Прямая линия лба и удлинённый череп. Твой затылок чуть округляется, переходя в углубление, куда втекает шея. Сколько раз без страха приходилось мне спускаться по утесу твоей головы. Как хотелось мне держать твою голову в руках, нежно глядя и сдерживая желание облизать кожу у основания шеи. В этой впадине ты и существуешь. Здесь сотворяется и определяется всеядной таксономией твой мир. Странное сочетание: осознание собственной смертности и бесконечное самомнение. Всевидящие и всезнающие мозги, столь многим владеющие и способные как на подвиги, так и на проделки. Способные гнуть ложки и понимать высшую математику. Жестко ограниченное пространство, вмещающее ранимое «я».

Я не могу проникнуть в тебя в одежде, на которой не осталось бы пятен. У меня в руках множество инструментов для записей и анализа. Если я подойду к тебе с записной книжкой и фонариком, с медицинской диаграммой и тряпкой, чтобы убрать за собой, то нужно, чтобы ты была аккуратно и чисто запакована. Я помещу тебя в пластиковый пакет, как куриную печеньку. Матка, кишки, мозги, аккуратно надписанные и уложенные. Именно так ведь нужно исследовать человека?

Мне ведомо, как твои волосы выбиваются из прически и омывают плечи огненным светом. Мне известна кальциевая белизна твоих щек. Мне знакомо опасное оружие твоей челюсти. Мои руки не раз держали твою голову, но никогда не держали тебя. В твоём пространстве, в твоей душе, в электронах твоей жизни.

— Познай меня! — сказала ты, и вот, взяв с собой фляжку, веревки и карты, я отправляюсь в путь и надеюсь вскоре вернуться домой. Я погружаюсь в тебя и я не могу найти дорогу обратно. Иногда мне кажется, что я выхожу на свободу, как Иона, извергнутый из чрева кита. Однако за следующим поворотом опять обнаруживаю себя. Себя внутри тебя, себя в твоей коже, в твоих костях, в твоих пазухах, что украшают стены каждой операционной. Так я познаю тебя. Ты есть то, что знаю я.

КОЖА

Кожа состоит из собственно кожи и эпидермиса.

Странно сознавать, что как раз та часть тебя, которую я так хорошо знаю, уже мертва. Клетки поверхностного слоя кожи — эпидермы — тонкие и плоские, в них нет кровеносных сосудов и нервных окончаний. Мертвые клетки, образующие толстые наросты на твоих ладонях и подошвах. Это твое, ныне уже погребенное, тело, что было предоставлено мне в прошедшем времени, защищало твои нежные внутренности от вторжений извне. И я — такое же вторжение, когда с некрофильской одержимостью глажу раковину, что лежит передо мной.

Мое мертвое «я» постоянно стирает мертвую тебя. Твои клетки опадают и шелушатся, идут на корм пылевому клещам и постельным клопам. Сброшенные тобой клетки поддерживали колонии живых существ, что пасутся на ненужных коже и волосах. Но ты ничего не чувствуешь. Да и как ты бы могла это заметить? Все твои ощущения приходят к тебе из более глубокого слоя живых клеток, что обновляются, сотворив еще один броненосный слой. Ты — рыцарь в сверкающих доспехах.

Спаси меня. Вскинь меня к себе в седло, дай прижаться к тебе, обхватить руками твою талию, уткнуться головой в твою спину. Твой запах убаюкивает меня, как хочу я зарыться в теплый пушок твоего тела. Кожа твоя — с привкусом соли и немного — цитруса. Когда я пробегаю влажным языком по грудям твоим, я чувствую крохотные волоски и морщинки, окружающие сосок. Грудь твоя подобна пчелиному улью, полному сладкого меда.

Я — существо, что кормится с твоих ладоней. Я стану твоим оруженосцем, выполняющим любые поручения. Отдохни здесь, позволь мне расшнуровать твои ботинки, разреши мне массировать твои уставшие стопы. В тебе нет ничего, что отвращало бы меня: ни пот, ни кровь, ни твоя болезнь с ее безрадостными отметинами. Поставь свою стопу на мои колена, и я буду обстригать тебе ногти и снимать усталость долгого дня. То был очень долгий день для тебя, пока ты не нашла меня. Ты вся покрыта кровоподтеками. Лопнувшие смоквы — синевато-багрового цвета твоей кожи.

Тело при лейкемии ранить легко. Мне теперь нужно с тобой осторожнее, чтобы ты кричала от наслаждения, что сродни боли. Мы уже оставляли друг на друге синяки, и капилляры, наполненные кровью, лопались слишком быстро. Капилляры в волос толщиной соединяют артерии и вены, и эта ветвистая сеть — тайнопись нашего желания. Ты вспыхивала, когда тебя охватывала страсть. Тогда мы знали, что делаем, и тела наши сплетались в заговоре наслаждения.

Мои нервные окончания быстро реагировали на любые изменения температуры твоей кожи. Больше нет грубого рычага горячо/холодно — я буду стараться поймать тот момент, когда кожа твоя застывает. Признаки страсти: от нее исходит жар, учащается и углубляется сердцебиение. Я знаю, что твои кровеносные сосуды разбухают, а поры расширяются. Иногда ты чихаешь четыре или пять раз подряд, как кошка. Этакая обыкновенная вещь, происходящая миллион раз на дню по всему свету. Обыкновенное чудо, когда твое тело реагирует на мои прикосновения. И все же мне каждый раз было трудно в это поверить. Это было невероятно, просто необъяснимо, почему ты хотела именно меня.

Я живу воспоминаниями, как внезапно обнищавший богач. Сажу в этом кресле у огня, поглаживая кота и неся вслух какую-то околесицу. Медицинский справочник упал на пол. Для меня это книга волшебных заклинаний. Кожа, говорится в ней. Кожа.

Твоя была молочно-белой, свежей, такой, что ее можно было пить. Неужто она выцветет и яркость ее погаснет? Неужели разбухнут твои шея и селезенка? Неужели четкие очертания твоего желудка исказятся от бесплодного бремени? Возможно, так и будет, и твой портрет, который я храню как зеницу ока, окажется лишь плохой репродукцией. Возможно, так будет, но если ты разрушишься, я тоже сломаюсь.

СКЕЛЕТ

Ключица состоит из двух симметричных половинок, соединенных изящной дугой. К этой кости крепятся мышцы грудной клетки. Ключица — то единственное прочное звено, которое соединяет вертикальный скелет с подвижной в горизонтальном направлении верхней частью тела.

Не могу думать об изгибах твоих ключиц, как о костяном гребне, я думаю о них в музыкальном ключе. Ключ, клавиша, клавикорд. Клавикорд был первым клавишным инструментом. Твоя ключица — одновременно и ключ, и клавиша. Если я погружу пальцы в тайное углубление позади кости, то они нащупают мягкую раковину, как у краба. Я найду просвет между пружинами мышц и смогу надавить на горловые связки. Кость бежит идеальной гаммой от грудины до лопатки, точно выточенная на токарном станке. Почему у тебя она — как у балерины?

У тебя было декольтированное платье, что подчеркивало очертания твоих грудей. Наверное, обращать внимание стоило на ложбинку между ними, но мне захотелось подцепить большими и указательными пальцами твои ключицы, а остальные пальцы сомкнуть на твоей шее. Ты спросила, уж не собираюсь ли я тебя таким образом придушить. А мне хотелось лишь проверить, подходит ли мой ключ к тебе, уложится ли моя кость в выемку.

Конечно, это была игра — притирать кость к кости. Раньше мне казалось, что сексуальная притягательность основана на различии, но у нас с тобой так много общего.

Кость от кости моей. Плоть от плоти моей. Чтобы вспомнить тебя, мне достаточно дотронуться до себя. Вот где была ты — здесь и здесь. Память прикосновений проскакивает в те двери, которые мой разум пытается запереть. Скелет ключа от комнаты Синей бороды. Тот проклятый ключ крови, что отпирает боль. Разум говорит — забыть, тело воет от боли. Косточки твоих ключиц растрavляют меня. Ты была во мне — вот здесь и здесь.

Лопатка, или плечевое крыло: плоская треугольная кость, что расположена позади ребер и отделяется от них мышцами.

Твои лопатки вздрагивают, как лопасти, но никто не подозревает, что на твоих плечах есть крылья. Пока ты лежала на животе, мне удавалось сглаживать острые углы твоего полета. Ты была пусть падшим, но ангелом; легкое тело стрекозы и сверкающие бликами на солнце золотые крылья.

Если я не проявлю осторожность, ты покинешь меня. Если слишком резко проведу ладонью по лопатке, на ладони останется кровь. То будут стигматы моей самонадеянности, и рана не затянется, если я начну принимать тебя как должное.

Пригвозди меня к себе. Я буду скакать на тебе ночным кошмаром. Ты — крылатый Пегас, которого невозможно оседлать. Рвись изо всех сил подо мной. Я хочу видеть, как напрягаются и тянутся твои мышцы, эти невинные треугольники плоти, в которых таится такая сила. Не становись на дыбы, являя мне всю мощь. Я страшусь тебя в постели, когда касаюсь тебя своей рукой и чувствую, как против меня обращаются сдвоенные лезвия. Ты спишь ко мне спиной, чтобы мне ты была понятна вся целиком. Мне довольно этого.

Лицо: тринадцать костей формируют костяк лица. Для полноты картины следовало бы добавить сюда и лобную кость.

Среди видений, что меня посещали перед сном и поутру, наиболее часто повторялось твое лицо. Твое лицо, зеркально-гладкое и зеркально-ясное. Оно озарялось луной, серебрилось холодным отражением, твое лицо во всей его тайне являло мне меня.

Я вырезаю твое лицо во льду замерзшего пруда. Оно больше меня по размеру, твой рот наполняется подтаявшей водой. Падает снег, а я прижимаю тебя к груди, и контур твоего лица врезается мне в куртку. Я касаюсь губами твоей замерзшей щеки, ты обжигашь меня. Кожа на губе рвется, и рот наполняется кровью. Чем теснее я прижимаюсь к тебе, тем быстрее ты таешь. Я держу тебя крепче, чем сама смерть. Смерть будет медленно срывать покровы твоего тела, пока не

обнажится клеть костей, что скрываются под ним.

Кожа, пожелтевшая как известняк, опадет, открывая мраморные прожилки вен. Бледные и полупрозрачные, они отвердеют и станут холодными. Кости пожелтеют, как звериные клыки.

Твое лицо пронзает меня. Меня пробивает насквозь, и в эти отверстия я вгоняю занозы надежды, но надежда не исцеляет меня. Наверное, мне следует забить глаза забытьем — те глаза, что уже слезятся от множества взглядов? Лобная кость, нёбные кости, носовые кости, верхняя челюсть, нижняя челюсть...

Эти слова — мой щит, они — мои покровы, это слова, что ничем не напоминают твое лицо.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

Слух и ухо: ушная полость занимает значительную часть головы и заканчивается на поверхности двумя ушными раковинами. Она состоит из эластичных тканей, покрытых кожей и тонкими волосками. В ней много изгибов и закруглений. Большая изогнутая поверхность снаружи называется завитком ушной раковины. Внизу она заканчивается мягким отростком — мочкой.

Звуковые волны распространяются со скоростью 335 метров в секунду. Это примерно одна пятая мили, а Луиза, возможно, от меня — на расстоянии двух сотен миль. Если я крикну, она сможет меня услышать примерно через семнадцать минут или около того. Также нужно сделать поправку на непредвиденные обстоятельства: вдруг она сейчас плавает под водой.

Я зову Луизу со ступенек крыльца, зная, что она не может меня услышать. Я вою в поле на луну, как это делают звери в зоопарке, надеясь, что кто-то отзовется. Зоопарк ночью — унылое место. За оградой своих клеток, вдали от скальпелей взглядов, звери плачут и воют. Каждая особь — со своим биологическим видом, они все инстинктивно знают, кто они есть. Они бы предпочли стать хищниками или даже добычей где-нибудь вдали от чуждой им безопасности. Их слух, гораздо более чуткий, чем у их сторожей, различает мельчайшие звуки: шум отъезжающего автомобиля, последние заказы на вынос перед закрытием закусочной. Все звуки людской тревоги. А не слышно им шума ветра в мелколесье, потрескивания костра. Звуков охоты. Рокота реки, заглушающего прерывистые кричи. Они наостряют уши, пока те не станут в охотничью стойку, но звуки, которые они так жаждут услышать, слишком далеки от них.

Как хотелось бы мне услышать опять твой голос.

Нос: обоняние у людей развито в основном слабее, чем у других животных.

Запах моей любимой до сих стоит у меня в ноздрях. Дрожжевой запах ее лона. Богатый ферментами запах поднимающегося теста. Моя любимая — ручная куропатка. Я зайду в ее низенький курятник, и она накормит меня. Стоит ей не помыться три дня, и запах уже кружит ей голову. Юбки относит прочь от тела ее, аромат — что обруч на бедрах.

Еще за входной дверью мой нос начинает подергиваться, я чувствую, как она идет ко мне по коридору. Она как флакон, благоухающий сандаловым деревом и хмелем, флакон, что я мечтаю откупорить. Мне хочется прижаться лицом к открытому колодцу ее лона. Она твердая и спелая, сложная смесь из запахов сеновала на скотном дворе и ладана, курящегося перед изображением мадонны. Она — ладан и мирр, горькие братья аромата смерти и веры.

Когда из нее вытекает кровь, запахи, что знаю я, меняют цвет. В такие дни в душе ее — железо. Она пахнет пистолетом.

Моя возлюбленная на взводе, она вот-вот выстрелит. На ней запах ее жертвы. Кончая тонкой струйкой белого дыма, что пахнет селитрой, она уничтожает меня. После такого расстрела я жажду лишь одного — ощущать последние содрогания ее страсти, передающиеся от самого нутра до кончиков того, что врачи называют обонятельными нервами.

Вкус: есть четыре основных вкуса — сладкое, кислое, горькое и соленое.

Моя возлюбленная — как оливковое дерево, укоренившееся в почве у самого моря. Плоды ее — пикантные и зеленые. С радостью разгрызаю я их, добираясь до твердой косточки внутри. Маленькое ядрышко жестко ложится на язык. Окруженный плотной соленой мякотью и обтянутый прочной оболочкой бугорок.

Кто же лакомится оливками, не прорвав кожицу? Вот он, долгожданный момент, когда зубы вонзаются в плод и из него брызжет чистый густой сок, впитавший в себя и тучность почвы, и переменчивость погоды, и даже имя садовника.

Во рту у тебя солнце. Разрыв оливковой кожицы во рту — как гром среди ясного неба. Ливень в знойный день. Съешь этот день, когда раскаленный песок обжигает твои ступни, пока внезапно налетевшая гроза не выплескивает на тебя первые капли дождя.

Наша с тобой личная рощица тяжела урожаем. Я проберусь к твоей косточке, твердой косточке под грубой оболочкой.

Зрение: глаз расположен в глазной впадине. Он почти сферический по форме и около дюйма в диаметре.

Свет движется со скоростью около 186 000 миль в секунду. Глаза улавливают отражения света, попадающие в его поле зрения. Я вижу какой-нибудь цвет, если предмет отражает свет с определенной длиной волны, а все остальные волны поглощает. Каждый цвет имеет определенную длину волны, при этом красный — самую длинную.

Может быть, поэтому он мне повсюду чудится? Я живу в красном шаре, сотканном из луизиных волос. Сейчас время красивых закатов, но меня прижимает к теням двора не сам опускающийся солнечный диск, а только твой цвет, растекающийся облаками во всю небесную твердь, падающий на бурю землю и на серые камни. На меня.

Иногда я бегу в объятия заката, широко раскинув руки, огородным пугалом, бегу, думая, что получится прыгнуть за край света, прямо в свирепое горнило и сгореть там в тебе. Мне бы хотелось погрузиться в сверкающие огненно-красные мазки заката.

Все иные цвета поглощаются. Тусклые оттенки дня никогда не проникают в мою затемненную черепную коробку. Я живу в четырех пустых стенах, подобно анахорету. Ты была комнатой, залитой сияющим светом, но дверь к тебе захлопнута моей рукой. Ты была многоцветным плащом, сброшенным в грязь.

Сможешь ли ты теперь увидеть меня в этом пропитавшемся кровью мире? О, ты, чьи зеленые глаза подобны миндалинам, приди ко мне в языках пламени. Дай мне вновь обрести зрение.

Март. Эльджин обещал написать мне в марте.

Я считаю дни, как будто сижу под домашним арестом. Стоят сильные холода, и леса наполнились дикими белыми нарциссами. Я пытаюсь утешить себя, думая о цветах и деревьях, каждую весну раскрывающих почки. В них расцветает новая жизнь, и это должно мне как-то помочь.

Наш бар-ресторан, известный под названием «Южный комфорт», организовал весенний фестиваль, чтобы снова привлечь завсегдатаев, чьи счета в банке еще не вполне восстановились после рождественских праздников. Для нас, работающих там, это означало, что надо нацепить зеленые чехлы и короны из искусственных крокусов. В названиях напитков тоже прослеживалась весенняя тема: пунш «Мартовский заяц», слинг «Овсюг», коктейль «Лазоревка». Неважно, что именно вы заказали, все напитки готовились по одному рецепту, за исключением ликерной основы. В мою задачу входило смешивать кухонное бренди, японское виски, плюс нечто, шедшее под кодовым названием «джин». Иногда туда же добавлялись мутный херес, апельсиновый сок с мякотью, жидкие сливки, несколько кусочков сахара и пищевые красители. Бокал доверху доливался шипучкой — и по

пять фунтов с пары (а «Южный комфорт» обслуживал только пары), в «счастливый час» — еще дешевле.

Хозяева пригласили на мартовские праздники пианиста и разрешили ему играть на свое усмотрение и с любой скоростью любые песни Саймона и Гарфанкеля. По неизвестным причинам он был зациклен на песне «Мост над бурными водами», и стоило мне около пяти появиться на работе, в ушах у меня уже звучали слова об отплывающей куда-то там серебряной девушке в исполнении слезливого хора набравшихся завсегдаев. Не обращая внимания на пьяные аккорды и дрожащие тремоло, мы в своих зеленых «весенних» чехлах скакали от столика к столику, разнося пайки пиццы и кружки, в которых посетители искали утешения. Мне была противна вся человеческая раса.

И все еще ни слова от Эльджина. Работай больше, смешивай больше коктейлей, оставайся допоздна, не спи, не думай. Так недолго и спиться — было бы что пить.

— Хочу посмотреть, как ты живешь.

Я стою в глубине бара, мрачно смешивая несколько кувшинов «Особого летального», когда выясняется, что Гейл Райт намерена подбросить меня до дому. В два часа ночи, выставив последних ночных пташек, прикорнувших в своих пьяненьких гнездышках по углам, она запирает заведение и забрасывает мой велосипед в багажник. В машине играет магнитофон — поет Тэмми Уайнетт.

— Мне нравится твоя сдержанность, — говорит она. — Здесь редко найдешь таких.

— Зачем ты вообще затеяла эту шарашку?

— Мне же надо на что-то жить. У меня не тот возраст, чтобы ждать появления прекрасного принца. — Она смеется. — Да, боюсь и вкусы у меня несколько другие.

«Встань рядом со своим мужчиной, — звучит голос Тэмми, — и пусть весь мир узнает, что ты его любишь».

— Думаю летом организовать еще фестиваль кантри и вестерна, как ты думаешь?

— Смотря что нам придется на себя напяливать.

Она вновь смеется, правда, несколько пронзительно.

— А тебе не нравится чехол? Ты в нем смотришься великолепно. — Она произносит последнее слово с ударением на Э, отчего это «великолэпно» звучит не комплиментом, а зевом пропасти.

— Очень мило с твоей стороны подбросить меня до дому, — говорю я. — Может быть, зайдешь чего-нибудь перехватить?

— О-о, да, — отвечает она. — О, да!

Мы вылезаем из машины. Над нами висит стылое небо. Стылыми пальцами я отодвигаю засов и со стылым сердцем приглашаю ее войти.

— А здесь очень тепло и уютно, — замечает она, прижимаясь боком к печке. У нее мощный зад. Я вспоминаю шорты, что носил один мой дружок, — на них было написано: «КРУПко! Не кантовать!» Она виляет задом и опрокидывает на пол пивную кружку — толстяка в костюме XVIII века.

— Не волнуйся, — говорю я, — ему было слишком жарко здесь стоять.

Кресло скрипит под ее тяжестью, когда она опускается в него и берет предложенное какао, ослабившись при упоминании о Казанове. А мне казалось, что это факт малоизвестный.

— Это неправда, — поясню я. — Шоколад — чудесное успокоительное. — Вернее, это тоже неправда, но Гейл Райт не проймешь превосходством сознания над материей. Я подчеркнуто зеваю.

— Трудный день, — говорит она. — И у тебя, и у меня. Тянет подумать о других вещах. О темных и волнующих.

Например, о патоке. Каково было бы барахтаться в патоке с Гейл Райт?

У меня был дружок по имени Карло — как раз темный и волнующий тип. Сам брился наголо и подбил на это меня, уверяя, что это обостряет чувственность. Меня, однако, не покидало ощущение, что я отбываю срок в пчелином улье. Но мне хотелось ему нравиться, от него пахло сосновыми шишками и морем, а все его длинное тело было влажным от страсти. Мы продержались вместе полгода, а потом он встретил Роберта, который был выше меня, шире в плечах и уже в талии. Они обменялись лезвиями бритв и отсекали меня от своей жизни.

— О чем ты мечтаешь? — спросила Гейл.

— О старой любви.

— Старых любишь? Это правильно. Но ты не думай, я не такая старая, как на первый взгляд, особенно, если обивку содрать.

Она мощно лупит ладонью по креслу, и туча пыли садится на ее потекший грим.

— Я хочу признаться тебе, Гейл, что у меня уже есть человек, — поспешно говорю я.

— Вот так всегда... — Она тяжело вздыхает, уставившись в чашку из-под какао, словно собираясь гадать на гуще. — Высокий рост, темные волосы — красавец, да?

— Высокий рост, рыжие волосы — красавица...

— Расскажешь о ней? — любопытствует Гейл. — Какая она?

Луиза, двукрылое дитя огня. 35. 34-22-36. Десять лет замужем. Пять месяцев со мной. Доктор искусствоведения. Первокласные мозги. Один выкидыш (или два?). Две руки, две ноги и слишком много белых Т-лимфоцитов. Жить осталось 97 месяцев.

— Не плачь, пожалуйста. — Гейл встает на колени перед моим стулом, взяв пухлой, в кольцах, рукой мою исхудавшую длань. — Не плачь! Все сделано правильно. Если она умрет, ты этого себе не простишь. А так ты даешь ей шанс.

— Это неизлечимо.

— Врачи так обычно не говорят. У нее хороший врач?

Гейл еще всего не знает.

Она очень нежно гладит меня по щеке.

— У тебя еще будет в жизни счастье. Почему бы нам не стать счастливыми вместе?

В шесть утра я просыпаюсь на моей покосившейся двуспальной кровати. Рядом в ложбину матраса завалилась Гейл Райт. От нее пахнет пудрой и потом. Она жутко храпит и, похоже, вот-вот проснется, поэтому я быстренько встаю, завожу ее машину и еду к телефонной будке.

Мы не занимались с ней любовью. Руки мою скользнули по валикам ее плоти с экстазом торговца подержанной мягкой мебелью. Погладив меня по голове, она немедленно заснула, и это было к лучшему, поскольку во мне было не больше страсти, чем в водолазном костюме.

Я опускаю монетку в автомат и с замиранием сердца вслушиваюсь в далекие гудки, а дыхание мое затягивает паром нагую телефонную будку. Сердце бьется слишком часто. Кто-то отвечает сонным брюзгливым голосом.

— АЛЛО? АЛЛО?

— Алло, Эльджин!

— Ты знаешь, который час?

— Раннее утро после очередной бессонной ночи

— Чего ты хочешь?

— Мы с тобой договаривались. Как она?

— Луиза сейчас в Швейцарии. Она была очень больна, но сейчас ей лучше. У нас хорошие результаты. Она пока не хочет возвращаться в Англию. Возможно, совсем не вернется сюда. Ты не сможешь ее увидеть.

— Я и не хочу ее видеть. (ЛОЖЬ! ЛОЖЬ!)

— Это очень хорошо, поскольку тебя она видеть точно не желает.

Телефон смолк. Я держу в руке трубку, тупо уставившись на диск. Главное, что с Луизой все в порядке, — остальное не имеет значения.

Вернувшись в машину, я не спеша еду по пустынной дороге к дому. Утро воскресенья, кругом ни души. Окна везде плотно занавешены, домики вдоль дороги выглядят спящими. Через дорогу мчит лисица, зажав в пасти цыпленка. Мне еще предстоит иметь дело с Гейл.

В доме слышны два звука: металлическое тиканье часов и храп Гейл. Прикрыв двери в спальню, я остаюсь наедине с часами. В такую раннюю пору время обретает иное качество, утренние часы кажутся долгими и многообещающими. Выложив на стол книги, я пытаюсь работать. Единственный иностранный язык, какой я знаю, — русский. В этом мне повезло, так как охотников переводить с русского немного. Франкофилов у нас пруд пруди, все мечтают засесть в парижском кафе и переводить по новой Пруста. Но не я. Мне всегда казалось, что *tour de force* означает обязательную школьную экскурсию⁷.

— Глупости! — Луиза шутливо стучает меня по лбу.

Она поднимается приготовить кофе. Запах свежесмолотых зерен напоминает о залитых солнцем кофейных плантациях. Ароматный пар поднимается над чашками, и мои очки запотевают. Она рисует на каждой линзе сердечко.

— Вот так! Это чтобы тебе никого не было видно, кроме меня, — говорит она. Волосы ее сверкают рыжей киноварью, тело напоминает о всех сокровищах египетских. Луиза, никто на свете и не

⁷ Проявление ловкости, силы или изобретательности (*фр.*). Игра слов: *англ.* *tour* — путешествие, экскурсия, *force* — сила, принуждение.

сравнится с тобой. Я не хочу видеть никого, кроме тебя.

Я все работаю, но вот часы звонят двенадцать, и сверху доносится жуткий грохот. Это проснулась Гейл Райт.

Я бросаюсь ставить чайник — мне кажется, некоторые миротворческие акции необходимы. Я отодвигаю в сторону «Эрл Грей» и достаю «Эмпайр Бленд». Не полка, а целый полк сортов чая. Это очень мужественный сорт — в нем столько танина, что некоторые художники используют его для рисования.

Гейл отправляется в ванну. Я слышу, как безрезультатно вращаются краны, затем подвергается штурму эмалированная раковина. Наконец, в большой неохотой и со скрипом бак соглашается расстаться с некоторым количеством горячей воды, дребезжит струйка, затем раздается лязг, и подача воды прекращается. Я очень надеюсь, что она не потревожила осадок.

— Ни в коем случае не трогай Осадка! — сказал фермер, когда показывал мне дом. Он произносил слово Осадок, будто речь шла о жуткой твари, обитающей в баке с горячей водой.

— А что может случиться?

Он пророчески покачал головой.

— Даже не могу сказать.

Он наверняка просто не знал, чем это может грозить. Но говорил так, будто речь шла о древнем проклятии.

Я беру чай, приготовленный для Гейл, и стучу в дверь.

— Заходи, не стесняйся, — приглашает она.

Я осторожно протискиваюсь в ванную и ставлю чай на край раковины. Вода в ванне бурая от ржавчины, а сама Гейл от нее — в полосочку, будто отличный кусок бекона. Маленькие глазки покраснели от бессонной ночи. Я содрогаюсь от ужаса.

— Холодновато. Потри мне спинку, сделай милость?

— Надо разжечь огонь — нельзя, чтобы ты простудилась, — бормочу я и выскакиваю из ванной.

Спустившись вниз, я начинаю разводить огонь. Разжечь бы такой огонь, чтобы спались весь дом, зажарив в нем и Гейл. Это невежливо, укоряю себя я. Почему ты впадаешь в ужас при виде женщины, чья единственная ошибка заключается в том, что ты ей нравишься, а единственная особенность — в том, что она необъятных размеров.

Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Гейл Райт спустилась по лестнице. Я выпрямляюсь и выдавливаю из себя улыбку.

— Доброе утро, душа моя! — Она звучно чмокает меня в щеку. — У тебя найдется бутерброд с беконом?

Расправляясь с останками фермерской хрюшки, Гейл сообщает, что собирается перевести меня на работу в бар — чтобы мы с ней работали вместе.

— Я положу тебе зарплату побольше. — Она облизала губы и руку, куда попали брызги растопленного сала.

— Ни к чему. Мне нравится все так, как сейчас.

— Ты сейчас в депрессии. Но постарайся справиться с этим, как я. — Она скалится мне над остатками собственного завтрака. — Разве тебе не понравился наш вчерашний семейный вечер? Руки твои шарили где хотели.

Ее собственные руки тем временем сжимают челюсти, словно она боится, что съеденный поросенок может вырваться. Она сама зажарила бекон, а потом прихлопнула бутерброд пропитанным свиным жиром хлебом. Правда, на ее ногтях еще оставался красный лак, и несколько чешуек попало ей в завтрак.

— Люблю сэндвичи с беконом, — говорит она. — Мне так понравились вчера твои руки в постели — такие нежные. Ты играешь на пианино?

— Да, — отвечаю я противно-ненатуральным голосом. — Извини меня, я сейчас.

Я успеваю добежать до туалета как раз вовремя и умудряюсь опередить приступ рвоты. На колени, сиденье вверх, голову вниз и оштукатурим раковину кашей. Я прополаскиваю рот водой, сглатывая горечь, скопившуюся в глубине горла. Если Луизе делали химиотерапию, она должна страдать от этого каждый день. А меня нет с нею рядом. «Помни о главном, а главное — вот это, — твержу я своему отражению в зеркале. — С тобой она не сможет прожить так долго, как с Эльджином!»

— Откуда ты знаешь? — пропищал голосок сомнения, которого я так боюсь.

Содрогаясь, я доползаю до гостиной и отхлебываю виски прямо из бутылки. Гейл красится, смотря в маленькое зеркальце.

- Ничего страшного, надеюсь? — спрашивает она, подводя глаза.
- Просто неважно себя чувствую.
- Это от недосыпа, ты ведь не спишь часов с шести. Куда тебя носило в такую рань?
- Надо было позвонить.

Гейл откладывает в сторону щеточку для ресниц, больше похожую на стрекало.

- Тебе надо забыть ее.
- Я скорее себя забуду.
- Чем сегодня займемся?
- Мне надо работать.

Гейл задумчиво разглядывает меня некоторое время, потом ссыпает свои принадлежности в косметичку.

- Ясно, детка. Я тебя не интересую.
- Ну, это не...

— Понятно, ты думаешь, что я старая толстая развалина, которой хочется кусочка чего-то твердого и сочного. Ну, что ж, это правда. Однако я выполню свою долю работы. Позабочусь о тебе, и буду тебе хорошим другом, и присмотрю, чтобы с тобой все было в порядке. Я не приживалка, но я и не шлюха. Я девушка в солидном возрасте, которую просто разнесло. И вот что я скажу тебе, детка. Страсти не уходят так быстро, как красота. Это суровая правда, а ты пока думай, как хочешь. Трудно признать, наверное, но у меня за душой еще кое-что осталось. Я не люблю приходить к столу с пустыми руками.

Она поднимается и берет ключи от машины.

- Подумай о том, что я сказала. Ты знаешь, где меня найти.

Пока она вырывается от моего дома, мне тягостно и стыдно. Я забираюсь в постель, бросаю все и погружаюсь в мечты о Луизе.

Апрель. Май. Я продолжаю изучать раковые заболевания в одной из больниц. В палате неизлечимых меня прозвали «больничным вампиром». Меня это не волнует. Я посещаю пациентов, выслушиваю их истории, нахожу тех, кому удалось вылечиться, сижу у кровати умирающих. Раньше мне казалось, что у всех раковых больных должны быть крепкие любящие семьи. В книгах много говорится о том, как важно, чтобы невзгоды все переносили вместе. Рак — болезнь чуть ли не семейная. А в жизни многие умирают в одиночку.

— И что же вы хотите узнать? — как-то раз не выдержав, спросила меня одна молодая женщина-врач.

- Я хочу понять, на что это похоже. Хочу разобраться, что это такое.

Она пожала плечами.

- Вы попусту теряете время. Часто я думаю, что мы все попусту теряем здесь время.

- Тогда зачем этим заниматься? Почему вот вы этим занимаетесь?

- Как почему? Это ведь вопрос, который волнует любого человека, разве не так?

Она уже собралась отойти, но вдруг встревоженно обернулась ко мне:

- Вы сами не больны раком?

- Нет!

Она успокоенно кивнула.

— Видите ли, многие люди, которым только что поставили диагноз, желают узнать изнутри, как это лечится. Лечащие врачи слишком уклончиво объясняют, а это, особенно для интеллигентных пациентов, не годится. Они тогда начинают сами разузнавать, что к чему.

- И что они узнают?

— Что мы почти ничего не знаем. Мы живем в конце двадцатого века, и что мы имеем? Скальпели, пилы, иглы с нитками, да несколько химических препаратов. Вот и все. У меня самой мало времени, чтобы заняться альтернативной медициной, но мне понятно, чем она многих привлекает.

- И у вас нет никакой возможности этим заняться?

- С моими-то сменами по восемь часов?

Она уходит. Я беру свою книгу «Современные методы лечения раковых заболеваний» и отправляюсь домой.

Июнь. Самый сухой июнь на моей памяти. Пора пышного цветения, но растения чахнут из-за

недостатка влаги. Бутоны, обещавшие так много, засохли, не распустившись. Раскаленное солнце — фальшивка. Каждое утро вместо того, чтобы нести жизнь, оно несет смерть.

Я иду в церковь. Не потому, что верю в спасение души или ищу утешения в целовании креста, а скорее, чтобы утешиться, посмотрев на тех, кто имеет веру. Мне приятно находиться в толпе, где меня никто не знает, и слушать, как они согласно поют гимны. Быть странником у чужих дверей, которому не нужно беспокоиться о том, где взять денег на ремонт крыши, или что везти на ярмарку. Раньше каждый верил в бога, и тысячи крошечных церквей были разбросаны тут и там по всей Британии. Мне не хватает воскресного звона колоколов — дикарского телеграфа Господа Бога, что несет благую весть от деревни к деревне. А вести — они действительно благие, коли церковь — центр и стержень уклада. Спокойная доброжелательность англиканской церкви органично вписывалась в течение сельской жизни. Медленная смена времен года и соответствующие ей молитвы в «Книге общественного богослужения». Ритуал и молчание. Грубые камни и грубая почва. Сейчас разве что одна из четырех церквей полностью блюдет календарь и служит чем-то бóльшим, нежели место для проведения мессы раз в несколько воскресений.

Неподалеку от меня есть рабочая модель церкви, еще не превратившаяся в музей. Перед тем как идти к вечерне, я привожу в порядок обувь. Следовало догадаться, что не все окажется так просто.

Здание тринадцатого века, хотя позже его частично реконструировали георгианцы и викторианцы. Прочные каменные блоки, казалось, были порождением этой земли. Выросли из нее. Цвета и материи сражений, где ненужное отсекали в страстном прорыве к богу, и форма образовалась сама. Массивное строение, темное, как сама земля, вызывающе устремленное ввысь. К архитраву нижнего портала была прикреплена пластмассовая табличка с уведомлением: «Иисус вас любит».

— Все меняется со временем, — успокаиваю себя я, поскольку мне не по себе.

Я вхожу внутрь, ощущая под ногами особый холод каменных плит, то прохладное прикосновение, которого не одолеть ни горящим газовым горелкам, ни верхней одежде. После иссушающей жары летнего дня я воспринимаю это как касание руки Господа. Опускаюсь на темную церковную скамью и оглядываюсь в поисках молитвенника. Его нет. И тут бьют тамбурины. Серьезные тамбурины размерами с большой басовой барабан, украшенные лентами, как майское дерево на сельском празднике, и отделанные шипами, как ошейник бойцовой собаки. Ко мне по центральному проходу приближается какой-то человек и начинает бить в тамбурин прямо у меня над ухом.

— Восхвалим Господа! — кричит он, безуспешно пытаюсь справиться с инструментом. — Странник среди нас!

Все, кто там есть, кроме меня, начинают распевать строки из Библии и вопить, не попадая в такт музыке. Величественные трубы запертого органа за ненадобностью покрываются пылью, а у нас зато аккордеон и две гитары. Мне захотелось уйти, но у дверей возвышается здоровенный фермер, чей вид сулит неприятности всякому, кто уйдет до сбора денег.

— Иисус победит тебя! — орет проповедник. (Бог — борец?)

— Иисус тебя одолеет! (Бог — насильник?)

— Иисус идет от силы к большей силе! (Бог — культурист?)

— Объединитесь вокруг Иисуса, и воздастся вам сторицей.

Я не отрицаю многогранность Господа, но мне кажется, если Он существует, то не в виде банковского счета.

У меня был один приятель, Бруно. После сорока лет служения мамоне, он обрел Иисуса под шкафом. Если быть точным, то этот гардероб четыре часа подавлял его волю и выжимал из его легких остатки воздуха. Бруно делал в доме уборку, и шкаф свалился на него. В таком двустворчатом гардеробе викторианской поры могло бы разместиться целое семейство бедняков. В итоге его спасла пожарная бригада, но Бруно навсегда уверовал в то, что его вывела из-под шкафа длань Господня. Он притащил меня в церковь и долго описывал, как Иисус вышел из чулана, чтобы спасти его. «Из чулана и прямо в твое сердце!» — испуганно подхватил пастор.

Мне больше никогда не довелось встретиться с Бруно; он подарил мне мотоцикл, в знак отречения от собственности, и пожелал, чтобы этот мотоцикл привел меня к Богу. К сожалению, транспорт закипел и взорвался на окраине Брайтона.

Кто-то вдруг вырывает меня из совершенно безобидной задумчивости, хватая за руки и начинает ими хлопать, как цимбалами. До меня доходит, что от меня ждут участия во всеобщем веселье, и мне следует вместе со всеми хлопать в такт музыке. Тут же вспоминается еще одна любимая бабушкина поговорка: «С волками жить — по волчьей выть». Я натягиваю на физиономию пластмассовую ухмылку, как подавальщик «Макдональдса», и стараюсь делать вид, что мне очень весело. Не скажу, чтобы мне было грустно или скучно — скорее попросту никак. Мне понятно, почему они считают, что

Иисус заполняет душевный вакуум, как будто душа — термос. Мне, пожалуй, не доводилось никогда ощущать такую пустоту, как сейчас. Бог очень милостив, но ведь и вкус у него должен быть.

Подозрения мои оправдались — фермер, видимо, занимавшийся борьбой сумо, действительно собирал подаяния, и как только он радостно получил от меня гнутые двадцать пенсов, я бегу. Бегу в поля, где козы и овцы щиплют травку так, как они паслись десятки веков. Бегу к озеру, где над водой кормятся стрекозы. Бегу, пока церковь не превращается в тугой узелок на фоне неба. Если нужно молиться, то лучше молиться здесь, стоя на жесткой земле, прижимаясь спиной к сухой каменной кладке. Я молюсь о Луизе ежедневно с декабря. Я не знаю в точности, ни кому обращены мои молитвы, ни почему я молюсь. Но я очень хочу, чтобы кто-то о ней позаботился. Чтобы кто-то приходил к ней и утешал ее. Был для нее прохладным ветерком и спокойным потоком. Мне хочется, чтобы она была под защитой: если б у меня была уверенность, что это пойдет ей на пользу, я с радостью наварю целые котлы головастиков. Что же до молитвы, то она помогала мне сосредоточиться. Помогала думать о Луизе как об особом человеке, не только как о моей возлюбленной — моей отраде и боли. Помогала забыть о себе, а это — само по себе благодать.

— Это была ошибка, — сказал внутренний голос. Не слабый писк, а мягкий и уверенный голос, который слышался все чаще и все отчетливей. Иногда он слышался так громко, что мне казалось, он уже не внутри меня, а где-то рядом, и меня покидала уверенность в собственном психическом здоровье. Кто обычно слышит голоса? Жанна д'Арк — конечно, но ведь есть всякие святые и чудики, которым хочется изменить мир тамбуринами.

Эльджин не отвечал ни на мои бесконечные звонки, как вовремя, так и не вовремя, ни на одно из трех моих писем. Наверное, уехал в Швейцарию, но что если Луиза уже умирает? Сообщит ли он мне об этом? Позволит ли свидеться с нею перед смертью? Я трясусь головой: что за чушь! Это нелепица, Луиза не умирает, она в безопасности в Швейцарии. Одетая в длинную зеленую юбку, стоит у стремительно низвергающегося потока. Водопад течет сквозь ее волосы и грудь, ее юбка прозрачна. Я присматриваюсь: тело тоже прозрачно. Мне видно, как по сосудам течет кровь, как работает ее сердце, как длинные бивни костей поддерживают ее ноги. Кровь чистая и красная, как свежая летняя роза. Как душистый бутон. Нет никакой засухи. Нет никакой боли. Если с Луизой все в порядке, тогда все в порядке и со мной.

Сегодня я нахожу на своей одежде ее волосок: на солнце блеснула золотая нить. Я накручиваю его на палец, а потом меряю его длину. Почти два фута. А вдруг это ниточка, что выведет меня к тебе?

Ни в одной из многочисленных книжек про то, как справляться со скорбью и утратой, нет никаких советов на случай подобных находок — частичек вашей любви. Знающие люди советуют хранить дома только вещи, которые могут навести вас лишь на счастливые и безоблачные воспоминания, а не превращать свой дом в мавзолей. Книжки о том, как справляться со смертью близких, интересовали меня отчасти потому, что расставание с Луизой было само по себе подобно смерти. Но кроме того угроза второй, страшной и невозвратимой потери постоянно витала надо мной, ибо понятно было, что Луиза умрет, и мне нужно к этому подготовиться. И это когда я едва-едва справляюсь с первой. Но справиться я хочу. Хоть моя жизнь и раскололась надвое, я все еще хочу жить. Самоубийство никогда не казалось мне средством против несчастья.

Несколько лет назад одна моя подруга погибла в дорожной аварии. Шестнадцатиколесный многотонный Джаггернаут раздавил ее велосипед.

После ее смерти мне долго не удавалось прийти в себя: все чудилось, что я вижу ее на улице — то она мелькнет где-то впереди, то я вижу ее со спины, но она неумолимо растворяется в толпе. Мне говорили, что так бывает часто. Потом она стала мерещиться мне все реже, и каждый раз на какое-то неуловимое мгновение мне казалось, что она еще жива. Время от времени мне под руку попадались какие-то забытые ею вещи. Самые обычные предметы. Один раз, например, из старой записной книжки выпал листок — совершенно свежий, даже чернила не выцвели. Записка, что она оставила мне на стуле в библиотеке пять лет назад. С приглашением выпить кофе в четыре часа. Я накину пальто, прихвачу горсть мелочи и встречу с тобой в переполненном кафе. Ведь ты будешь там сегодня? Будешь?

«Ничего, ты это переживешь...» Вот клише, из-за которого я мучаюсь. Потеря любимого изменяет жизнь навсегда. Вы не можете пережить «это», поскольку «это» — любимый вами человек. Боль утихает, вы знакомитесь с новыми людьми, но рана никогда не затягивается до конца. Да и возможно ли это? Ведь индивидуальность того, кого вы так любили, не исчезает с его смертью. Рана в моем

сердце вырезана по твоему профилю, и никто иной не втиснется в нее. Да и хочется ли мне этого?

Последнее время я много думаю смерти, об окончании всего, о споре, оборванном на полуслове. Почему, если один умирает, то другой нет? И почему это происходит без предупреждения? Даже смерть после долгой болезни — даже она всегда неожиданна. Момент, к которому вы, казалось бы, долго готовились, штормом обрушивается на вас. Грабители вламываются в окно, хватают тело — и поминай как звали. В среду ровно год назад ты была со мной, а сейчас тебя нет. Почему? Смерть вызывает у нас недоумение, сродни детскому. Если вчера ты была, то почему сегодня тебя нет? И где ты теперь?

Хрупкие создания голубой планетки, окруженные световыми годами немного пространства. Находят ли умерший покой за пределами этого грохочущего мира? И какое успокоение можем испытать здесь мы, оставшиеся, если мы не в силах вернуть возлюбленных даже на один день? Подняв голову, я гляжу на дверь и думаю, как мне хотелось бы увидеть в проеме тебя. Твой голос раздается в коридоре, но когда я выбегаю, тебя там нет. И я ничего не могу с этим сделать. Последнее слово осталось за тобой.

Трепет в желудке стих, оставив тупую недремлющую боль. Иногда я думаю о тебе, и у меня все начинает кружиться перед глазами. Воспоминания ударяют мне в голову, как шампанское. Я помню все, что было с нами. Если бы кто-нибудь сказал мне, что такова плата за прошлое, у меня не нашлось бы возражений. Странно, что с болью и растерянностью приходит приятие. Оно того стоило. Любовь этого стоит.

Август. Никаких новостей. Впервые с момента нашей разлуки с Луизой я погружаюсь в депрессию. Предыдущие месяцы были наполнены горестным отчаянием. Состояние полубезумное, если считать безумием пребывание на границе реального мира. В августе на меня накатили опустошенность и подавленность. Я немного прихожу в себя, более трезво оцениваю свои действия. Я больше не упиваюсь своим отчаяньем. Тело и душа знают, как спрятаться от того, что невозможно вынести. Как обожженные жертвы достигают предела боли, так и те, кто испытывает душевные муки, находят в отчаянии ту высоту, с которой им какое-то время лучше видно самих себя. Но для меня это уже позади: моя неистовая энергия истощилась, слезы пересохли. Я засыпаю по вечерам мертвым сном и просыпаюсь, не отдохнув. Когда мое сердце болит, я больше не в силах плакать. Но на мне камнем висит моя ошибка. Луиза обманулась во мне, а сейчас поздно что-либо исправить.

Разве было у меня право решать за нее? Решать, как ей следует жить? Или умереть?

В «Южном комфорте» шел фестиваль кантри-вестерна. Кроме того, на этот месяц пришелся день рождения Гейл Райт. Меня ничуть не удивило, что она оказалась Львом. В ту ночь, о которой я говорю, у нас было жарко и шумно, как в аду. Своим выступлением нас осчастливил Дон по кличке «Воющая Конура». Он любил называть себя Воко. Бахромы на полах его куртки хватило бы на большой парик, если бы он в нем нуждался. А он в нем нуждался, но предпочитал думать, что недостаток волос покрывает «невидимый паричок». Штанишки у него были такими узкими, что шириной можно было удавить хоряка. Когда он не пел в микрофон, то прижимал его к промежности. На заду красовалась надпись: «ВХОДА НЕТ».

— Во, задница! — сказала Гейл и сама захохотала удачной шутке. — Не втягивал бы он так пузо, а то мы решим, что у него кишка тонка.

Воко имел большой успех. Женщинам нравилось, как он раздавал им красные бумажные салфеточки с автографами, извлекая их из верхнего кармана куртки, и как он подражал рыку Элвиса. Мужчины, казалось, не возражали против его плоских шуточек, когда он прыгал к ним на колени и жеманно пищал: «Кто здесь самый красивый мальчик?», а дамы тем временем присасывались к очередному джину с лимоном.

— На следующей неделе устраиваем девичник, — сообщила Гейл. — Со стриптизом.

— Мне казалось, что у нас месячник кантри-вестерна?

— Все верно. Воко придется натянуть бандану.

— А как начет банана? А то отсюда хрен что разглядишь.

— Им же не размер важен, а оттянуться хорошенько.

На сцене Воко, зажав в вытянутой руке микрофонную стойку, тянул: «Это пра-авда ты-ы-ы?»

— Лучше приготовить заранее, — сказала Гейл. — Как только он закончит петь, они повалят за выпивкой быстрее, чем монашки к причастию.

Она смешивала в тазике особый, приуроченный к месячнику, коктейль «Долли Партон на льду», а мне следовало расставить в ряд бокалы с маленькими пластиковыми сиськами, которые должны были изображать зонтики.

— Пошли поедим, как закончишь, — сказала Гейл. — Ничего личного. Я заканчиваю работу в двенадцать, и тебя кончу, если захочешь.

Вот как в итоге мы оказались в баре «Волшебный Пит». Передо мной стояла тарелка спагетти-карбонара.

Гейл напилась. Она была пьяна настолько, что когда ее накладные ресницы упали в суп, она на полном серьезе заявила официанту, что в тарелке плавает сороконожка.

— П-послушай, мне надо кое-что тебе сказать, — сообщила Гейл, наклоняясь ко мне над столом — так сторож зоопарка бросал бы рыбку пингвину. — Слышь?

Больше ничего не оставалось. В «Волшебном Пите» было не слишком шикарно, но выпивка там на уровне. Либо слушать ее излияния, либо найти пятьдесят пенсов на музыкальный автомат. Но пятидесяти пенсов у меня не было.

— Т-ты ошибае-ся!

В мультиках на этом месте пол снизу пробивает пила и прогрызает отверстие вокруг стула Багза Банни. Что она имеет в виду — я ошибаюсь?

— Если ты о нас, Гейл, то...

Но она не дала мне договорить.

— Про т-твою Луизу!

Она с трудом ворочала языком. Голову она поддерживала кулаками, для надежности упираясь локтями в стол. Пытаясь дотянуться до моей руки, она уронила свою в ведро со льдом.

— Тебе не надо было драпать!

Драпать? Моя героическая роль виделась мне совсем иначе. Разве вся моя жизнь не принесена в жертву Луизе? Разве ее жизнь не куплена ценой моей?

— Она н-не ребенок!

Неправда. Ребенок. Мое дитя. Нежное создание, которое мне хотелось защитить.

— Вместо т-того, ч-чтобы спросить, чего она хочет с-сама, ты...

Но мне пришлось ее оставить. Ради меня она могла бы умереть. Разве не лучше было отдать половину жизни ради того, чтобы она жила?

— Ты ш-што молчишь? — спросила Гейл. — Где твой язык?

Язык-то мой на месте. И червяк тоже — червь сомнения. Кем я себя воображаю? Сэром Ланселотом? Луиза стоит любой средневековой мадонны, но какой уж из меня рыцарь. И все же мне отчаянно хотелось не ошибаться.

Мы, шатаясь, вывалились из «Волшебного Пита» и побрели к машине Гейл. Пьяна была только Гейл, но опираясь на меня, она колыхалась за двоих. Как остатки желе на детском утреннике. Гейл твердо вознамерилась ехать ко мне и остаться у меня, даже если мне придется провести ночь в кресле. Миля за милей она развивала передо мной свою мысль. Жаль, что меня угораздило посвятить ее в подробности наших с Луизой отношений. Теперь ее было не остановить. Она перла как паровой каток.

— Чего я никогда не одобряла, так это пустого героизма. Многим нравится наворачивать проблемы только для того, чтобы их решать.

— Ты это про меня?

— У т-тебя эт-то просто дурь! Или ты ее п-просто не любишь!

Я так резко дергаю руль, что подарочный блок кассет Тэмми Уайнетт опрокидывается и сносит башку собачке-болванчику. Гейл блюет на свою блузу.

— Вся беда с тобой, лапа, — говорит она, утираясь, — что ты хочешь жить по сюжетам романов.

— Чушь. Я никаких романов не читаю. Разве только русские.

— Еще хуже! Эт-то тебе не «Война и мир», эт-то тебе Йорк-шир!

— Ты пьяна!

— Абс-солютно! Мне пятьдесят три года, и я д-дика, как валлиец с зеленым луком в заднице. Пятьдесят три! Старая развалина Гейл! К-какого черта она сует свой нос в твои дела и срывает с тебя м-муче... муч-ченический венец? Вот что ты думаешь, л-лапа! Конечно, я не похожа на ангела неб-

бесного, но не т-только у твоей п-подружки есть кр-рылышки. У м-меня тоже парочка им-меется. — Она похлопала себя подмышками. — Так вот, я тоже малость п-полетала и тоже поднабралась кой-чего! А т-тебе, л-лапа, отдаю задаром! Не беги от женщины, которую любишь! Тем более, что ты думаешь — это, мол, для ее блага! — Тут она икнула так сильно, что заляпала свою куртку полупереваренными устрицами. Пришлось отдать ей свой носовой платок. Под конец она сказала:

— Лучше теб-бе ее разыскать!

— Не могу!

— Х-кто сказал?

— Я! Я не могу нарушить слово. Даже если это ошибка, сейчас уже слишком поздно что-либо менять. Ты захотела бы видеть человека, оставившего тебя с тем, кого ты презираешь?

— Д-да! — сказала Гейл и вырубилась.

На следующее утро я сажусь на лондонский поезд. Солнце жарит сквозь вагонное окно, меня размаривает, и я погружаюсь в легкую дремоту: мне слышится голос Луизы — как будто из-под воды. Она под водой. Мы в Оксфорде, и она плавает в реке, а та отливает на ее теле изумрудным, жемчужным. Потом мы лежим на траве — жухлой от солнца, уже почти на сене, сухом на спекшейся глине, и травинки оставляют на нас красные рубцы. А небо над нами — голубое, как голубоглазый мальчишка: ни тени, ни облачка, открытый прямой взгляд, широкая улыбка. Довоенное небо. До Первой мировой бывали такие дни: просторные английские луга, насекомые жужжат, невинное голубое небо. Рабочие на ферме ворошат вилами сено, женщины в фартуках обносят их лимонадом. Летом жарко, зимой падает снег. Хорошая сказочка.

Вот и сейчас я создаю собственные воспоминания о счастливых временах. Когда мы были вместе, погода была лучше, дни — длиннее. Даже дождь был теплым. Разве не так? А помнишь, тогда... Я вижу Луизу: фруктовый сад в Оксфорде, вот так она сидела по-турецки, опираясь на ствол сливы. Сливы над волосами ее — как змеиные головы. Волосы еще не высохли после купания и путаются в ветвях. Зелень листвы на медных волосах — как патина. Моя медноволосая леди. Луиза из тех женщин, чья красота будет видна и под налетом плесени.

В тот день она спросила меня, буду ли я хранить ей верность. У меня вырвалось:

— До самой смерти!

Но так ли это?

Ничто не может помешать слиянью
Двух сродных душ. Любовь не есть любовь,
Коль поддается чуждому влиянью,
Коль от разлуки остывает кровь.
Всей жизни цель, любовь повсюду с нами,
Ее не сломят бури никогда,
Она во тьме, над утлыми судами
Горит как путеводная звезда.⁸

В юности мне очень нравился этот сонет. Заблудившийся утлый челн виделся мне потерявшимся щенком, почти как в «Портрете художника в собачьей юности» Дилана Томаса.

Я — утлый челн, плывущий неведомо куда, но считаю себя достаточно надежной опорой для Луизы. А потом я швыряю ее за борт.

— Ты любишь меня?

— Всем сердцем!

Я притягиваю ее ладошку к своей груди под майкой, чтобы она почувствовала, как оно бьется. Она покручивает пальцами мне сосок.

— А как насчет тела?

— Мне больно, Луиза.

Страсть плохо сочетается с вежливостью. В ответ Луиза больно щиплет меня за грудь. Да, знаю, ей хотелось бы привязать меня к себе прочными веревками, замотать нас в один узел так, чтобы мы лежали лицом к лицу, шевелись лишь вместе, не ощущали бы ничего, кроме единения наших тел.

⁸ У. Шекспир, сонет 116. Перевод С. Ильина.

Она лишила бы нас всех чувств, кроме осязания и обоняния. В этом слепом, глухом, недвижимом мире мы могли бы предаваться своей страсти вечно. Конец означал бы новое начало. Только она, только я. Да, знаю, она была ревнива — но и я тоже. В любви она была груба — но и я тоже. У нас хватило бы терпения пересчитать волосы на головах друг у друга, но никогда не хватало терпения раздеться. Никто из нас не был лучше другого, но раны у нас были одинаковые. Она была моей половинкой — и она потерялась. Считается, что кожа имеет водоотталкивающие свойства, но моя кожа не отталкивала Луизу. Она затопила меня, и вода так и не сошла. А я до сих пор бреду по ее водам, они плещутся в мою дверь и угрожают моему душевному покою. У моих ворот нет гондолы, а вода поднимается все выше. Плыви по ней, не бойся. Но я боюсь.

— Может, такова ее месть?

— Я тебя никогда не отпущу!

Сперва я еду к себе на квартиру. Я не рассчитываю найти там Луизу, однако нахожу ее следы: одежду, книги, кофе, который она любила. Принюхавшись к зернам, понимаю, что ее здесь нет уже давно. Кофе выдохся, а Луиза никогда бы такого не допустила. Я беру ее свитер и зарываюсь лицом в пушистую шерсть. Очень слабо — аромат ее духов.

Странно — попав домой, я чувствую непонятное возбуждение. Почему люди так противоречивы? Здесь место горя, место нашего расставания, уныния и скорби, но с первыми лучами солнца, заглянувшего в окно и осветившего сад с цветущими розами, меня вновь наполняет надежда. Счастливы мы здесь тоже были. Наверное, что-то от прежнего счастья осталось, впиталось в стены, запечатлелось на мебели.

Я решаю протереть пыль. Я давно знаю, что тупая физическая работа успокаивающе действует на мышиную возню в мозгах. Мне нужно успокоиться, перестать нервничать, на свежую голову составить план действий. Да, нужно успокоиться, но спокойствие всегда давалось мне с трудом.

Я нечаянно смахиваю щеткой последний выпуск «Мисс Хэвишем» и обнаруживаю под ним письма, которые Луиза получила из больницы, куда она обращалась за дополнительной консультацией. Смысл ответов сводился к тому, что результаты анализов асимптоматичны и лечение пока не требуется. Имеется некоторое увеличение лимфатических узлов, но оно остается без изменений на протяжении полугода. Консультант рекомендовал ей вести нормальную жизнь и регулярно проходить обследование. Судя по датам, эти три письма были отправлены уже после моего отъезда. Там же оказалось впечатляющее послание от Эльджина, где он напоминал Луизе, что занимается ее случаем уже два года, и что, по его скромному мнению («Хочу напомнить тебе, Луиза, что из нас двоих не мистер Рэнд, а я имею лучшую квалификацию и лучше разбираюсь в трудно диагностируемых случаях.»), Луиза нуждается в лечении. На письме стоял адрес швейцарской клиники.

Я звоню туда. Секретарша не пожелала со мной разговаривать. В их клинике нет никаких пациентов. Нет, я не могу поговорить с мистером Розенталем.

Секретарша, наверное — одна из Ингиных.

— Могу я поговорить с миссис Розенталь? — Терпеть не могу называть ее так.

— Миссис Розенталь здесь уже нет.

— Тогда могу я поговорить с доктором?

— *Мистера* Розенталья... — Она подчеркивает мою оговорку. — ...тоже нет.

— А когда он будет?

Этого она не может сказать. Я кладу трубку и сажусь на пол.

Ну, хорошо. Что же делать? Остается только мать Луизы.

Ее мать и бабушка жили вместе в Челси. Они считали себя австралийской аристократией, иными словами — потомками сосланных туда каторжан. У них был небольшой дом, перестроенный из конюшни. С верхнего этажа можно было видеть флагшток Букингемского дворца. Бабушка проводила все время наверху, отмечая прибытие и отбытие Ее Величества из резиденции. Иногда она отрывалась от этого занятия, чтобы опрокинуть на себя поданную еду. Руки у нее отнюдь не дрожали, но опрокидывать посуду нравилось — это добавляло забот дочери. Луиза бабушку, впрочем, любила. Отдавая дань Диккенсу, она именовала старуху Престарелой Горошиной, поскольку горох та просыпала на пол особенно часто. Единственное, что сказала бабка по поводу ухода Луизы от Эльджина: «Получи с него деньги».

Мать была более многословна и в отнюдь не аристократической манере ахала и вздыхала: что же скажут люди. Когда я называю себя по домофону, она отказывается меня впустить.

— Не знаю, где она, и вас это не касается!

— Миссис Фокс, умоляю вас, откройте, пожалуйста!

В ответ — тишина. Я понимаю, что дом англичанина — его крепость, но вправе ли мы распространять это правило на австралийцев? Я принимаюсь барабанить в дверь кулаком и истошно требовать, чтобы мне открыли. В окнах соседнего дома появляются две аккуратно причесанные головки и прилипают носами к стеклу. Как Панч и Джуди в театре кукол. Парадная дверь распахивается. На пороге не миссис Фокс, а сама Престарелая Горошина.

— Что у вас тут — сезон охоты на кенгуру?

— Я ищу Луизу.

— Не смейте переступить порог моего дома! — Это уже миссис Фокс.

— Китти, если мы не впустим в дом эту личность, соседи решат, что у нас либо завелись клопы, либо описывают имущество. — Горошина подозрительно оглядывает меня. — Пожалуй, вы больше похожи на сотрудника отдела дезинфекции.

— Мама, в Англии нет отдела дезинфекции!

— Нет? Ну, что ж, тогда понятно, почему здесь столько мерзких запахов.

— Пожалуйста, впустите меня, миссис Фокс, я совсем ненадолго.

С неохотой миссис Фокс отодвигается, и я вхожу.

Едва я переступаю порог, она захлопывает за мной дверь и преграждает мне путь. Пластмассовая крышка щели для газет врезается мне в спину.

— Давайте побыстрее!

— Я пытаюсь отыскать Луизу. Вы не можете мне сказать, когда видели ее в последний раз?

— Хо-хо! — произносит Горошина, постукивая клюкой. — Нечего тут вальсы-шмальсы перед нами вытанцовывать, что твоя Матильда! Вам какое дело? Сами бросили ее, вот и валите отсюда.

Миссис Фокс говорит, поджав губы:

— Очень рада, что вы больше не знаете с моей дочерью. Вы разрушили ее брак.

— Ну-у, вот против этого я ничего не имею! — вставляет бабка.

— Мама, ты не можешь немного помолчать? Эльджин — великий человек!

— С каких это пор? Ты всегда говорила, что он похож на крысенка!

— Я не говорила, что он похож на крысенка. Я сказала, что он небольшого роста и, к сожалению, у него вид, ну, ох, я сказала, что он...

— Крыса! — взвизгивает бабка и колотит палкой в дверь точно у меня над головой. Ей бы в цирке ножи метать.

— Миссис Фокс. Это была ужасная ошибка. Мне нельзя было оставлять Луизу. Мне просто казалось тогда, что так будет лучше для нее, что Эльджин лучше сможет о ней позаботиться. Сейчас я хочу исправить ошибку, найти ее и заботиться о ней.

— Слишком поздно, — отвечает миссис Фокс. — Луиза сказала мне, что не желает вас больше видеть.

— Ей пришлось хуже, чем жабе на взлетной полосе, — сообщает старуха.

— Мама, пойди и отдохни немного, ты переутомилась, — говорит миссис Фокс, опершись на лестничные перила. — Я сама разберусь.

— Красавица была отсюда до Брисбена, а поглядите, как с нею тут обошлись. Ведь знаете, Луиза — это вылитая я в молодости. У меня была стройная фигурка.

Трудно поверить, что у Горошины вообще когда-то была фигурка. Сейчас бабушка Луизы больше всего напоминала снежную бабу — два неаккуратных кома, один поверх другого. Я впервые обращаю внимания на ее волосы: серпантин завитков, небрежно колышущаяся масса, выбивающаяся из-под заколок, точь-в-точь, как у Луизы. Луиза ведь рассказывала мне, что в молодости ее бабка была общепризнанной королевой красоты в Западной Австралии. В двадцатые годы получила более сотни предложений руки и сердца от банкиров, бизнесменов, влиятельных лиц, которые разворачивали перед нею карты новой Австралии и говорили: «Дорогуша, все это будет твоим, когда ты станешь моею». Горошина вышла замуж за фермера-овцевода и родила ему шестерых детей. До ближайших соседей — день верхом. Мне вдруг воочию представилась она: платье до пола, руки в боки, грунтовка уходит за горизонт, а вокруг ничего, кроме сухой плоской равнины и небесного свода. Мисс Хелен Луиза, неопалимая купина опаленной земли.

— На что это вы уставились?

Я встряхиваю головой.

— Миссис Фокс, вы не знаете, куда могла уехать Луиза?

— Знаю, что она уехала из Лондона, вот и все. Наверно, где-нибудь за границей.

— И врача своего ободрала, как липку. Одних мокриц ему оставила. Хе-хе-хе.

— Мама, ты прекратишь наконец?.. — Миссис Фокс оборачивается ко мне. — Думаю, вам лучше уйти. Я ничем не могу вам помочь.

Как только миссис Фокс открывает входную дверь, соседи захлопывают свои.

— Ну, что я вам говорила? — ворчит бабка. — Мы опозорены.

Она с отвращением поворачивается и ковыляет по коридору, опираясь на палку.

— Вы ведь знаете, что Эльджину в этом году не удалось попасть в цивильный лист? Все из-за развода с Луизой.

— Не говорите глупостей. Государственные субсидии от этого не зависят.

— Тогда почему он в него не попал?

Она захлопнула дверь и разрыдалась в коридоре. То ли не удалось приблизиться к королевскому двору, то ли — сблизиться с дочерью.

Вечер. Парочки, потея, прогуливаются рука об руку. Сверху из открытых окон доносится рэгги — играет команда, которой до Ямайки как до неба. Рестораны пропагандируют питание на открытом воздухе, но плетеные стулья на грязной улице с лязгающими автобусами — далеко не Венеция. Среди пицц и графинов рафии ветер несет мусор. Официант с лисьей мордочкой поправляет бабочку на резинке в зеркальце кассирши, хлопает ее по заднице, заправляет красным языком в рот мятную жвачку и подваливает к стойке явно несовершеннолетних девчонок, пьющих кампари с содовой:

— Мадам не желают чего-нибудь покушать?

Я сажусь на первый попавшийся автобус. Не все ли равно куда ехать, если это не приблизит меня к Луизе? Город задыхается от жары. Водитель во время езды не открывает двери, и дышать абсолютно нечем. В воздухе висит стойкий запах чипсов и гамбургеров. На переднем сиденье толстая женщина в нейлоновом платье широко расставила ноги и обмахивается туфлей. По лицу ее течет расплывшаяся косметика.

— ВОДИТЕЛЬ ОТКРОЙТЕ ДВЕРИ ДА ОТКРОЙ ТЫ КОЗЕЛ! — выпаливает она на одном дыхании.

— От козлихи слышу. — Тот даже не оборачивается. — Ты, что, читать не умеешь? Видишь, что написано?

За его спиной красуется табличка с надписью: «Не беспокоить водителя во время движения транспорта!» Мы прочно застряли в пробке.

Становится все жарче, мужчина напротив меня достает мобильный телефон. Как всегда с владельцами мобильных, сказать ему нечего — он просто хочет что-нибудь сказать. Удостоверившись, что все вокруг успели посмотреть в его сторону, он заканчивает: «Ну, тогда покедова, старина». Я очень вежливо прошу у него разрешения воспользоваться телефоном — я заплачу ему фунт. Он не может ни на секунду расстаться с таким важным аппендиксом своего мужского достоинства, но в конце концов соглашается набрать номер и самолично держать трубку у моего уха. После нескольких долгих гудков он удовлетворенно произносит: «Там никого нет», сует в карман мою монету и вешает сокровище себе на шею на цепочку, больше похожую на собачий поводок. Значит, дома у Луизы никто не отвечает. Я решаю съездить туда и посмотреть.

Я ловлю такси, и мы тащимся по смертельной жаре в сторону луизиного дома. Такси сворачивает на площадь как раз в тот самый момент, когда к тротуару подъезжает «БМВ» Эльджина. Он вылезает из машины и открывает другую дверь, чтобы помочь выйти какой-то женщине. На ней деловой костюмчик, изрядный слой косметики, волосы уложены в прическу, что вечно борется с бурей, но не пошелохнется ни на волосок. Она держит в руках небольшую дорожную сумку, Эльджин — чемодан. Они весело смеются. Он целует ее и нашаривает в кармане ключи.

— Так вы здесь выходите или нет? — спрашивает меня водитель.

Надо держать себя в руках. Глубоко дыша, я поднимаюсь по ступенькам и звоню. Спокойно, только спокойно, главное, спокойно.

Дверь открывает дамочка. Я широко улыбаюсь и, обогнув ее, прохожу в просторный холл. Эльджин стоит ко мне спиной.

— Дорогой... — начинает она.

— Привет, Эльджин! — говорю я.

Он подпрыгивает и молниеносно разворачивается. Мне и в голову никогда не приходило, что такое возможно в реальной жизни — разве что в дешевом гангстерском кино. Эльджин совершил пируэт, достойный Фреда Астэра, и оказался между нами. Даже не знаю, зачем.

— Дорогая, сходи приготовь чай, а? — говорит он, и она поспешно удаляется.

— Ты ей платишь за послушание или это любовь?

— Я сказал тебе — никогда не приходи сюда.

— Ты много наговорил такого, чего мне не следовало слушать. Где Луиза?

На секунду Эльджин застывает. На лице его непритворное удивление. Значит, он был уверен, что я все знаю. Я быстро оглядываюсь. В холле появился новый огромный мраморный стол на изогнутых ножках — чудовищная конструкция из клена с медными полосами. Нет сомнений — его приобрели в магазине, где ценники не выставляют на витринах: товар там говорит сам за себя. Вещица в стиле тех, что делают для арабских шейхов. Рядом красуется новый электрокамин. Луизы здесь нет уже давно.

— Давай я тебя провожу, — отвечает Эльджин.

Я хватаю его за галстук и толкаю к дверям. У меня нет боксерских навыков, но действуя по наитию, я хватаю его за глотку. Похоже, получилось. Только он, к сожалению, не может сказать ни слова.

— Ты собираешься объяснить мне, что произошло, или нет?

Затянуть бы галстук чуть потуже и посмотреть, как эти глаза будут вылезать из орбит.

Дамочка неожиданно появляется на ступеньках с двумя кружками чая. Кружки. Фи, как безвкусно. Она замирает на мгновение, как актриса в дрянном фильме, а потом издает истошный визг.

— РУКИ ПРОЧЬ ОТ МОЕГО ЖЕНИХА!

От изумления я упускаю инициативу, и Эльджин исхитряется сильно пнуть меня коленом в живот и отбросить к стенке. Я распластываюсь на полу, хрюкая, как тюлень. Он попадает носком ботинка мне в голень, но в тот момент я этого даже не замечаю. Я вижу только начищенные до блеска ботинки и ее модные замшевые туфли. Меня тошнит. Пока я, как массовка на картинах Вермеера, корчусь на черно-беломраморных ромбах пола, Эльджин говорит со всей торжественностью, возможной для полузадушенного человека:

— Совершенно верно, мы с Луизой развелись.

Меня выворачивает сэндвичем с яйцом и помидором, но я, как старый алкаш, умудряюсь подняться и, вытерев рот, провожу испачканной рукой по блейзеру Эльджина.

— Боже, вы отвратительны! — восклицает дамочка. — Боже!

— Хотите, расскажу вам сказочку на ночь? — спрашиваю я ее. — Про Эльджина и его жену Луизу? Ну, и про меня, конечно?

— Дорогая, сходи к машине и вызови полицию. — Эльджин открывает дверь и выпроваживает ее на улицу. Даже в таком жалком состоянии меня это поражает:

— Зачем ей звонить из машины — или это ты так выпендриваешься?

— Моя невеста должна быть в безопасности.

— А может быть, ты боишься, что она услышит что-то лишнее?

Эльджин пытается снисходительно улыбнуться. Ему вообще никогда не удавались улыбки — главным образом, у него получалось лишь криво шевельнуть ртом на лице.

— Мне кажется, тебе пора.

Я смотрю на его машину. Дамочка сидит с мобильником в руках, пользовательская инструкция разложена на коленях.

— Ну, думаю, у нас найдется еще несколько минут. Так где Луиза?

— Не знаю и знать не хочу.

— Ты пел мне другую песню на прошлое Рождество!

— В прошлом году я думал, мне удастся воззвать к ее здравому смыслу. Я ошибся.

— А это случайно никак не связано с тем цивильным листом, а?

Поразительно, но он реагирует на эти слова. Вдруг бледнеет, щеки покрываются алыми клоунскими пятнами. Он яростно сталкивает меня со ступенек.

— Довольно! Вон отсюда!

Тут в голове у меня что-то щелкает, и на короткий момент я, прямо как Самсон, обретаю былую силу. Я занимаю нижнюю ступеньку с его точки зрения — я ниже ватерлинии его зависти. Мне припомнилось то утро в их кухне, когда он бросил нам вызов. Он хотел, чтобы мы чувствовали себя виноватыми, чтобы наше счастье было разрушено общепринятыми взрослыми правилами приличия. А вместо этого Луиза взяла да и оставила его. Конечно, это был акт эгоизма с ее стороны: женщина поставила себя выше его.

Меня охватывает сумасшедшая жеребья радость. Я ликую при мысли о том, что она улизнула от него. Представляю себе, как она укладывала вещи, запирала за собой дверь, уходя отсюда навсегда. Она свободна. Как птица, летит над полями, чувствуя под крылами упругий свежий ветер. Почему, почему у меня не было доверия к тебе? Чем я, в итоге, лучше Эльджина? Ты исчезла, и теперь мы

оба оказались в дураках. Ты ускользнула из ловушки, а попались в нее мы.

Жеребьячья радость. Бросила Эльджина. Вот теперь мои чувства прорвутся — не фонтанами благодарности к Луизе, а потоками сернистой лавы — к нему, вот здесь и сейчас.

Он начинает махать своей дамочке, будто причудливый семафор, — нелепый марионеточный мальчик с игрушечными ключами от шикарной машинки.

— Эльджин, ты ведь врач? — спрашиваю я. — А ты знаешь, врач может определить размер сердца по размеру кулака. Вот тебе мой!

У Эльджина на лице вспыхивает изумление, когда мои кулаки, сцепленные, будто в какой-то нечестивой молитве, приношением бьют его снизу в челюсть. Голова его дергается с мерзким хрустом, точно попала в мясорубку. Эльджин валится к моим ногам и застывает окровавленным эмбрионом. И при этом похрюкивает, как поросенок у корытца. Странно, что не умер. Если Луиза так легко может умереть, то почему Эльджину так трудно это сделать?

Мой гнев испаряется вместе с этим ударом. Я выношу из вестибюля диванную подушку и поудобнее устраиваю его голову. Из рта у него выпадает зуб. Золотой. Очки его оставляю на мраморном столе и спускаюсь по ступенькам к машине. Дамочка — в полуобморочном состоянии и беспрерывно бормочет: «Боже, боже, боже, боже». Как будто монотонное повторение заменяет веру.

Мобильник болтается на тесемке, как бесполезный маятник у нее на руке. Из нее слышится надтреснутый голос оператора: «Пожарная-охрана-скорая-помощь-полиция. Какая помощь вам требуется? Пожарная-охрана-скорая-помощь-полиция. Какая...»

Я аккуратно беру трубку.

— Скорая помощь. Пожалуйста, Найтингейл-сквер, дом 52.

Когда мне, наконец, удается добраться до дома, уже стемнело. Правый кулак чудовищно распух, к тому же я хромаю. Засыпав лед в пару целлофановых пакетов, я прикручиваю их к рукам скотчем. Мне не хочется ничего — только лечь и уснуть. Засыпаю я, не раздеваясь, на пропыленных простынях, и сплю около двадцати часов. Проснувшись, вызываю такси и еду в травмпункт, где в приемном покое приходится просидеть столько же. Оказывается, у меня раздроблена кисть.

В гипсе чуть ли не до самого локтя, я составляю список всех больниц, где есть отделения для раковых больных. Но ни в одной никогда не слышали ни о Луизе Розенталь, ни о Луизе Фокс. Лечения она нигде не проходила. Наконец, добираюсь до ее консультанта, но он отказывается сообщить мне что-либо, кроме того что Луизу он больше не консультирует. Несколько ее друзей, к которым я захожу, отвечают, что не видели ее с мая. Она как будто испарилась. Иду к адвокату, занимавшемуся разводом. Контактного адреса Луизы у нее нет. После долгих уговоров она соглашается выдать мне тот, по которому Луиза жила, когда шло дело о разводе.

— Вы понимаете, что это неэтично?

— А вы понимаете, кто я ей?

— Да. Только потому и делаю для вас исключение.

Она исчезает и шелестит папками. У меня пересыхает во рту.

— Вот: Дрэгон-стрит, 41-а.

Это адрес моей квартиры.

Еще шесть недель, до начала октября, я остаюсь в Лондоне. Я морально готовлюсь к тому, что придется отвечать за увечья, нанесенные Эльджину. Но ответа никто не потребовал. Прогулявшись до его дома, я обнаруживаю, что он на замке. По каким-то одному ему ведомым причинам Эльджин решил не возбуждать против меня дело. Странно: ведь мог бы мне отомстить, возможно, даже добиться тюремного заключения. При воспоминании о том, какое бешенство меня тогда обуряло, мне становится плохо. Какая-то ярость во мне бушевала всегда — обычно приступ начинался с пульсации в виске, а потом переходил в безумие, которое удавалось признать, но не удавалось контролировать. Нет — удавалось контролировать. Удавалось много лет, пока мы не встретились с Луизой. Она вскрыла во мне и темные стороны, и светлые. Чем-то приходится рисковать. У меня не было намерения извиняться перед Эльджином — в чем моя вина? Сожаления не было, а стыд был, хотя, может быть, это звучит странно.

По ночам, в самые черные часы ночи, когда луна висит низко, а до восхода еще далеко, меня терзали кошмары. Снилось, что Луиза уехала умирать — одна. У меня тряслись руки. Нет-нет, только не это. Гораздо лучше — другая реальность, где она вдали от меня и от Эльджина, забыв обо всем,

наслаждается жизнью — и, может быть, у нее уже есть кто-нибудь. Эту последнюю часть сна лучше было не досматривать. Но это все равно лучше, чем боль ее смерти. Каким бы ни было мое внутреннее равновесие, оно зависело от того, счастлива ли она. Этот сюжет мне был необходим. Мне нравилось повторять его себе каждый день, а каждую ночь прижимать его к груди. Он утешал меня. Мне нравилось строить для нее дома, сажать цветы в садах. Вот она за границей, греется на южном солнышке. Вот она в Италии и ест мидии. Ее белая вилла отражается в водах красивого озера. Она не больна и не покинута, ей не приходится ютиться в жалкой комнатухе с ветхими занавесками на окнах. С ней все хорошо. У Луизы все в порядке.

Для лейкемии характерны быстрые спады после ремиссии. Ремиссия может быть вызвана химиотерапией, радиоактивным облучением или наступить сама по себе неизвестно из-за чего. Никакой врач не может в точности предсказать, действительно ли течение болезни приостановилось, и как долго это может продлиться. Это характерно для всех раковых заболеваний. Тело танцует с самим собой.

Когда стволовые клетки перестают делиться, или скорость размножения сильно уменьшается, болезнь приостанавливается. Пациент может больше не страдать от боли. Если ремиссия наступает на ранних стадиях, до того, как последствия химиотерапии обрушат на тело новые мучения, человек может чувствовать себя хорошо. Однако, к сожалению, выпадение волос, обесцвечивание кожи, хронические поносы, лихорадка и неврологические нарушения — это цена, которую человек платит за несколько лишних месяцев жизни. Или несколько лет. Вот в чем проблема.

Проблема в метастазах. У рака есть уникальное свойство: он может переноситься с места своего возникновения в далекие ткани. Часто пациенты умирают именно от этого, но биологическая подоплека метастазиса врачам так и не ясна. Врачи не приспособлены для того, чтобы это понять. Медицинское мышление считает тело набором изолированных органов, которые в случае необходимости нуждаются в лечении. Необходимость же воспринимать организм как целое для медиков очень неприятна. Холистическая медицина — она ведь только для знахарей и чокнутых, разве нет? Наплевать — везите тележку с колесами, травите химией, бомбардируйте радиацией. Не помогает? Тогда берите инструменты, скальпели, пилы и иглы. Селезенка размером с футбольный мяч? Бездарные средства для бездарной болезни. Особенно, если метастазы пошли прежде, чем пациент обратился к врачам. Они не любят говорить об этом, но если рак уже в такой стадии, излечение отдельного органа — легких, груди, кожи, крови, — не влияет на общий неблагоприятный прогноз.

Сегодня я иду на кладбище и гуляю среди могил, думая о мертвых. Черепа и скрещенные кости, выгравированные на старых могилах, глядят на меня с неприличной веселостью. Чему они так радуются, эти головы, лишённые всякого человеческого тепла? Тем, кто пришел на кладбище со скорбными лицами, с похоронными букетами, эти гримасы должны быть отвратительны. Ведь здесь место печали, тишины и скорби. Нас, стремящихся укрыться под плащами от любого дождя, серое небо и серые могильные плиты только угнетают. Конечно, все мы здесь будем, но к чему заранее расстраиваться? Пока еще наши тела крепки и могут сопротивляться ветрам и непогоде, не стоит думать о грязной яме или терпеливом плюще, чьи корни неизбежно отыщут нас в земле.

Шестеро носильщиков в длинных халатах и траурных повязках несут тело к могиле. Правда, могилкой это можно назвать только из уважения к сему скорбному месту. В саду, например, такую траншею копают, чтобы посадить спаржу. Наполняют навозом и высаживают растения. Такое себе симпатичное углубление. Но здесь не сад, и это не грядка для спаржи, а место последнего упокоения усопшего.

Взгляните на гроб. Это вам не фанерка, а настоящие дубовые доски. Литые бронзовые ручки, некая-то отлакированная сталь. Покрывало из тонкого шелка, набивка из настоящей морской губки. Шелк гниет так изящно, и труп остается в элегантных лохмотьях. Между прочим, дешевые синтетические ткани не разлагаются вообще. С таким же успехом можете лечь в гроб в нейлоновых носках.

В похоронном деле методика «сделай сам» не прижилась. Есть нечто зловещее в выборе предметов для собственного погребения. Можно покупать наборы для постройки яхты, строительства дома, сборную дачную мебель — но не комплект «вырой себе могилу». Где заранее пробурены шурфы, вбиты все колышки, чтоб если упокоиться — то наверняка. Разве это не есть проявление

вашей заботы о себе возлюбленном?

На сегодняшних похоронах все вокруг усыпано цветами: бледные лилии, белые розы и ветви плакучей ивы. Да, вначале всегда так, а потом наступает безразличие и на смену свежим цветам приходят пластмассовые в молочных бутылках. Впрочем, альтернативой здесь, наверное, были бы поддельные вазы из веджвудского фарфора, торчащие на могильной плите в жару и слякоть с настоящей зеленой веточкой из «Вулворта».

Интересно, не упускаю ли я чего? Типа стенаний: ах, отчего цветы мертвы? Может, они умирают, как раз когда их выдергивают из земли. Может, люди считают, что на кладбище все должно быть мертвым. В этом есть некая логика. Возможно, такое место неприлично засорять цветущей летней красотой или роскошью осени. Что до меня, то мне по душе красный барбарис на фоне сливочно-мраморной плиты.

Вернемся к могиле, в которой все мы будем. Шесть футов в длину, шесть в глубину и два в ширину — стандартные размеры, хотя по требованию заказчика могут быть изменены. Могила — великий уравниватель: сколько ее ни обустраивай, и бедняк, и богач в конце концов селятся в одинаковых домах. В пустоте, окруженной земляными стенами. В вашем личном Галлиполи, как называют яму могильщики.

Копать могилу — трудная работа. Говорят, публика ее мало ценит. Эта старомодная деятельность отнимает много времени и в жару, и в мороз. Копать надо всегда, хоть почвенные воды пропитывают ваши сапоги насквозь. Опирайтесь на стенку, чтобы хоть чуть-чуть передохнуть, мокнуть до костей. В девятнадцатом веке могильщики нередко умирали от сырости. Выражение: «Копать себе могилу» — все же не просто фигура речи.

Скорбящих близких могила пугает. Головокружительная бездна потери. Это последнее место, где вы стоите рядом с любимым человеком, и вы должны отпустить его — или ее — в мрачный шурф, где за дело примутся черви.

Для многих последний взгляд на усопшего, перед тем как захлопнется крышка гроба — то, что омрачает прежние светлые воспоминания. Перед «закладкой тела», как выражаются специалисты, это тело должны омыть, продезинфицировать, очистить от внутренних жидкостей, запечатать, одеть и наложить грим. Все эти обязанности еще несколько лет назад выполнялись дома, но обязанностями их не считали — то были акты любви.

А что бы вы сделали? Отдали тело в чужие руки? То тело, что лежало рядом с вами и в болезни, и в счастье. То, к которому до сих пор тянутся ваши руки, все равно, живое оно или нет. Вы poznали каждую его мышцу, вы видели, как дрожат его ресницы во сне. То тело, на котором навеки осталось ваше имя, — и его отдать посторонним?

Вашу любовь унесло в чужие земли. Вы звоните, но любовь не слышит. Вы зовете в полях и долинах, но любовь не отвечает. Небо на замке и молчит — там никого нет. Земля тверда и суха. Оттуда любовь не возвратится. Может, лишь тонкая пелена разделяет вас. Может, любовь ваша ждет вас на холме. Терпение, терпение — ступайте легкими ногами и разверните себя, как древний свиток перед ней.

Я уйду от свежей могилы в заброшенную часть кладбища. Здесь царит запустение. Плющ оплел раскрытые библии и ангелов, но в зарослях бьется жизнь. По могильным плитам скачут белки, на дереве поет дрозд — их не интересует смерть. Им довольно червяка, орешка и восхода солнца.

«Любимая супруга Джона». «Единственная дочь Эндрю и Кейт». «Здесь лежит человек, любивший неразумно, но искусно». Пепел к пеплу, к праху прах.

Под несколькими падурами с ритмичной решимостью люди копают могилу. Когда я прохожу мимо, один почтительно подносит руку к кепке, и мне становится не по себе, от того, что я принимаю чужие соблезнования. В умирающем свете дня звон лопаты и приглушенные голоса мужчин кажутся мне бодрыми и очень живыми. Эти люди скоро пойдут по домам — умываться, пить чай. Нелепо, что круговорот жизни движется так уверенно даже здесь.

Я смотрю на часы. Кладбище скоро закроют. Мне надо идти — не из страха перед умершими, а из уважения. Лучи заката падают на дорожку сквозь ветви берез. Неподатливые плиты ловят эти лучи, они золотят высеченные буквы, играют на трубах ангелов. Вся земля оживает от этого света. Не веселой охрой весны, а тяжелым кармином осени. Кровавая пора. В лесах уже стреляют.

Я ускоряю шаги. Странно, но мне хотелось бы остаться на кладбище. Чем, интересно, занимаются мертвецы по ночам? Неужели действительно вылезают из могил и усмеваются, а ветер со свистом щекочет им ребра? Им наплевать, что ветер холодный. Я засовываю руки в карманы и поспеваю к воротам как раз, когда ночной сторож уже натягивает цепь и лязгает навесным замком. Интересно, это он меня от них запирает или их — от меня? Сторож заговорщицки мне подмигивает и

похлопывает себя по промежности, где на поясе болтается восемнадцатидюймовый фонарик.
— Ничто меня не избежит, — говорит он.

Я перебегаю через дорогу. Там, напротив — модное кафе: оборудовано, как в Европе, только цены повыше, да рабочий день короче. Мы часто встречались с тобой здесь, когда ты еще не ушла от Эльджина. Мы любили приходить сюда после секса. У тебя всегда просыпался зверский аппетит. Ты говорила, что на самом деле хочешь полакомиться мной и только из чувства приличия удовлетворяешься горячими бутербродами. Прости, «крок-месье», как они называются в меню.

До сегодняшнего дня мне казалось, что нужно тщательно избегать всех мест, где мы часто бывали вместе. Так советовали книги по скорби. До сегодняшнего дня у меня все еще была надежда встретить тебя или — хотя бы — узнать что-то о тебе. Мне никогда не приходило в голову, что меня, как Кассандру, будут одолевать предчувствия. Но они меня одолели. Червь сомнения прочно поселился в моих внутренностях. Я больше не знаю, чему верить, что правильно. Мой червь даже доставляет какое-то мрачное удовлетворение. Черви, что займутся тобой, сначала сожрут меня. Ты не почувствуешь, как тупая толстая головка разрывает гниющую ткань, как роется в тебе, не ощутишь, как со слепым упорством она поедает мышцы и хрящи, пока не уткнется в кость... пока не поддастся и кость. Уличная бродячая собака слопала бы меня мигом, так мало плоти от меня осталось.

Кладбищенские ворота выводят меня к этому кафе. Прихлебывать здесь обжигающий кофе еще живыми губами — в этом есть какое-то подсознательное успокоение. Пусть всякая дрянь и нечисть, пугала и зубастые страшилища ломятся в окна и надоедают нам, как могут. Здесь свет и тепло, пар от горячей кофеварки, табачный дым, уют и ощущение обретенной опоры. Не из мазохизма, и не по привычке, и без каких-то особых надежд, я решаюсь заглянуть в это кафе. Мне кажется, это может утешить меня, хотя я понимаю, что вряд ли найду утешение в предметах, на которые мы когда-то смотрели вдвоем. Почему они не меняются, когда все так изменилось в моей жизни и в моей душе? Почему твой свитер так бесчувственно пахнет тобой, если ты не можешь его надеть? Нет, я хочу не напоминаний о тебе, я хочу тебя саму. Я уже подумываю уехать из Лондона в свой жалкий коттедж. Почему бы и нет? Начать все заново — разве не так утверждает одно из тех полезных клише?

Октябрь. Зачем мне оставаться здесь? Нет ничего противнее одиночества в толпе. В городе всегда толпа. Пока я сижу в этом кафе, дверь открывается и закрывается одиннадцать раз: входят мальчики или девочки, а им навстречу от чашки кофе или рюмки кальвадоса поднимаются девочки или мальчики. За высокой стойкой из латуни и стекла перешучивается персонал. Играет музыка — какой-то соул, — все заняты делом, все счастливы или, судя по внешнему виду, подчеркнута несчастны. Вон, например, те двое напротив: он нахмурился в задумчивости, она что-то возбужденно говорит. У них не все гладко, но они, по крайней мере, могут поговорить друг с другом. Лишь я — в одиночестве в переполненном кафе, а мне раньше нравилось быть в одиночестве. Тогда можно было позволить себе роскошь знать, что вот сейчас откроется дверь и кто-то будет искать меня глазами. Мне припомнились прежние времена: я прибегаю на свидания за час до встречи, чтобы выпить в одиночестве и почитать. И почти сожалею, когда подходит условленное время и дверь открывается: нужно вставать с места, целовать тебя в обе щеки и отогревать твои озябшие руки. Быть в одиночестве — такое же удовольствие, как гулять по морозу в теплом пальто. Кому охота бегать по снегу нагишом?

Я расплачиваюсь и выхожу. Я иду пешком, как будто мне есть куда идти. Как будто в моей квартире горит свет и ты ждешь меня, как мы договорились. Спешить не нужно, я могу радоваться вечернему морозцу, щиплющему щеки. Лето прошло, зима наступила. Сегодня мне достался поход по магазинам, а ты сказала, что займешься готовкой. Я позвоню с дороги и прихватю с собой вино. Во мне живет эта бесшабашная уверенность: ты дома, ты ждешь меня. В этом есть некая целостность. В этом свобода. Мы — пара воздушных змеев, мы можем держать друг друга за бечевки: зачем бояться, что сильный ветер разнесет нас в стороны?

Вот я и дома. Света в окнах нет. В комнатах холодно. Ты уже не вернешься. Все равно я усядусь на пол в прихожей, на всякий случай напишу тебе записку с моим адресом и завтра утром, прежде чем уехать, подсуну ее под дверь. Если ты получишь ее, пожалуйста, ответь. И давай встретимся в том кафе? Ведь ты сможешь прийти? Ты придешь?

Мягкое покачивание пассажирского поезда — приятный контраст с ревом городской подземки.

Ныне «Бритиш Рейл» обращаются ко мне: «клиент», я же предпочитаю старомодное «пассажир». Не кажется ли вам, что слова «Я взглянул на пассажира, сидящего напротив меня» более романтичны и от них больше веет теплом, чем от слов «Я окинул взглядом клиентов, заполнивших вагон». Клиенты стригутся, приобретают сыр, мочалки, презервативы. Хотя у пассажира в багаже тоже могут находиться все эти предметы, но вовсе не они делают его привлекательным для вас. Попутчик может оказаться началом приключения. С клиентом же меня роднит только купленный недавно чемодан.

На пересадочной станции я проскакиваю под громыханье динамиков под табло «Задержка отправления». За грузовым складом осталась узкоколейка — когда-то она была здесь единственной. Когда-то здесь все строения были выкрашены в цвет бургундского, а в зале ожидания стояла настоящая печь и обязательно лежали утренние газеты. В былые времена, если вы спрашивали у начальника вокзала, который час, он торжественно извлекал из жилетного кармана массивные серебряные часы, щелкал крышкой и сверялся с циферблатом, словно дельфийская сивилла. Ответ напоминал вечную истину, хотя уже принадлежал прошлому. Так бывало в раннем детстве, когда это было возможно: начальник вокзала вполне мог укрыть меня своим брюхом, пока мой отец смотрел ему прямо в глаза. А мне было так мало лет, что от меня правды никто и не ожидал.

Теперь эта короткая линия приговорена и, вероятно, на следующий год ее казнят. Не сохранился и зал ожидания, и негде укрыться от ветра и дождя. Над землей высится лишь современная платформа.

Проходящий поезд остановился с неприятным силплым скрежетом и рыгнул. В нем всего четыре вагона, грязных и без малейших признаков охраны или кондукторов. В кабине машиниста никого не разглядеть — стекло залеплено вчерашним номером «Сан». В вагоне же густо пахнет мазутом и горячими буксами, немывтым полом — знакомый тошнотворный запах железной дороги. Мне кажется, что я снова дома и смотрю проплывающий пейзаж, как пыльный, поцарапанный, прокрученный множество раз, но милый душе фильм.

В вакууме все фотоны имеют одинаковую скорость. Когда они проходят через воздух, воду, или стекло, их скорость замедляется. Фотоны, обладающие разной энергией, замедляются с разной скоростью. Если бы Толстой знал это, он не допустил бы такой вопиющей ошибки в начале «Анны Карениной»: «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В действительности, все наоборот. Именно счастье индивидуально. Несчастье — общее состояние. Люди всегда знают, почему она счастливы, но мало кто понимает, почему он несчастен.

Несчастье — это вакуум. Место без воздуха, мертвое удушающее пространство, обиталище отверженных, униженных и оскорбленных. Несчастье — чужие меблированные комнаты, что меньше тюремной камеры или птичьей клетки: вы сидите в собственном помете, валяетесь в собственной грязи. На пути несчастья нет знаков разворота, нет стоянок и парковок. Вы падаете вниз, подталкиваемые теми, кто позади вас, увлекаемые теми, кто впереди. Падение вниз на чудовищной скорости, хотя дни и ночи — мумии, залитые в свинец. Это происходит быстро, стоит вам только пуститься в путь. Нет никаких якорей, что смогут удержать вас в вашем медленном и неуклонном падении, поскольку несчастье освобождает вас от четких рамок обыденной жизни. Каким бы ни был ваш личный ад, вы найдете миллионы себе подобных, погруженных в Несчастье. Это город, где ночные кошмары сбываются.

В вагоне поезда, за толстым стеклом, я прячусь от всякой ответственности за происходящее. Поезд мчится вдаль, а в душе моей ничего не происходит, ничего не произрастает, она превратилась в стерильную зону. Мне не хочется смотреть в лицо фактам, не хочется ни вычислять, ни принимать, ни отвергать. В пространстве, из которого откачан воздух, на сухом ложе души я учусь жить без кислорода. В этом даже есть некое мазохистское удовольствие. Меня затянуло слишком глубоко, я уже не в силах принимать решения, и это приносит облегчение, от которого мутится в голове. Свобода человека, гуляющего в невесомости по лунной поверхности. Там бродит сплоченными рядами множество людей в толстых скафандрах, которые ничем не проткнуть, и тяжелых шлемах, в которых невозможно разговаривать. Миллионы несчастных, что двигаются во времени без всякой надежды. Несчастные часов не наблюдают, они слышат только бесконечное и непрерывное тиканье.

Поезд стоит. Мы маемся, просматривая вечерние газеты и прислушиваясь к усталому рокоту двигателя. Ничто не менялось в этом застывшем натюрморте. Я вытягиваю ноги на соседнее грязное сиденье. Человек через два кресла от меня храпит во сне. Мы не можем ехать дальше — выйти из вагона мы тоже не можем. Ну и что? Почему бы не сдаться в расслабляющей духоте недвижимой атмосферы? В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗБЕЙТЕ СТЕКЛО. У меня есть необходимость, но нет сил

поднять руку, нет сил пробить себе выход. Мне не хватает духу поднять тревогу. Мне хочется встать, ощутить прилив сил, выпрыгнуть наружу через окно, и, стряхнув с рукава осколки, сказать: «То было вчера, а я живу сегодня». Мне хотелось бы принять все, что сделано, и двигаться дальше. Но я не могу сдвинуться с места, потому что Луиза, возможно, еще не отпустила другой конец веревки.

Станция, где я схожу, совсем крохотная, переулочек ведет от нее прямо в поля, засеянные озимыми. Никаких контролеров на выходе — только лампочка в сорок ватт да указатель: «Выход здесь». Очень полезная подсказка.

Переулочек посыпан угольным шлаком, который пронзительно скрипит под ногами. На ботинках остаются угольные полосы и белая зола, но это все же лучше, чем тащиться в дождь по чавкающей грязи. Правда, сейчас дождя нет. Небо твердое, словно стеклянное, ни облачка, только звезды и завалившаяся набок пьяная луна. Островерхая изгородь и ряд ясеней обозначают границу — за постройками человека дикая пустошь, где могут жить только овцы. Я слышу в темноте их чавканье, они пасутся на кочках, пережевывая толстые и жесткие стебли травы. Осторожно, держись правее, там канава.

Уже поздно, можно дойти до местного паба и взять такси, а не тащиться пешком шесть миль без фонарика. Но то ли от морозного шлепка по щекам, то ли от глотка холодного воздуха я направляюсь не к пабу и телефонной будке, а, закинув дорожную сумку за спину, бреду к холмам. Вверх и на ту сторону. Три мили вверх и три вниз. Мы с Луизой бродили здесь как-то всю ночь. И вдвоем вынырнули из ночи, как из темного тоннеля. И вступили в утро, встретившее нас. Вместе любовались восходом, идеальным восходом — солнцем над распростертыми полями. В то утро хорошо была видна тьма: она осталась у той черты, где мы ее покинули. Разве могло мне прийти в голову, что она настигнет нас.

С трудом я прокладываю себе путь через стадо коров, на чьих копытах красуются браслеты из глины. На мои подошвы налипли большие комья грязи. Кто бы мог подумать, что мягко сбегаящие склоны холмов служат дренажными трубами. Засушенная после долгой летней жары почва не пропускала дождя — только ручьи могли смягчить ее, и то неглубоко. Они вырывались пенными потоками и заканчивали свой бег в прудах, на берегах которых бродил, разыскивая траву повыше, скот. На мое счастье, луна, отражаясь в воде, освещала тропу — хотя и грязную, но относительно сухую. Мои городские ботинки и тонкие носки недолго сопротивлялись слякоти, полы длинного пальто были забрызганы грязью. Коровы смотрели на меня тем недоверчиво-подозрительным взглядом, которым все животные смотрят на людей. Мы кажемся им глупыми созданиями — мы не являемся частью природы. Наше вторжение разрушает установленные природой правила сосуществования тех, на кого охотятся, и тех, кто охотится. Животные прекрасно знают их и следуют им, пока не встречаются с нами. Сегодня ночью коровы вволю посмеялись напоследок. Их мирное жвачное существование, их незамысловатые тела, черневшие на склоне, — просто насмешка над неуклюжей фигурой с тяжелой сумкой на плече. Я сталкиваюсь с ними — эй, тащи сюда свой нелепый огузок! Поскольку мяса я не ем, то не смогу им даже отомстить. Способны ли вы прикончить корову? Иногда я играю с собой в такую игру. Что или кого я могу убить? Дальше утки моя фантазия обычно не простирается, но тут я вижу такую утку в пруду — она мерзко крикает, ныряет, отклячив зад, желтые лапы взбалтывают бурю воду. Схватить ее и свернуть шею? Но убивать из ружья гораздо удобнее, потому что издали. Я не стану есть то, что убью, — грязное это дело, ханжеское. Коровам, пасущимся на склоне холма, незачем меня бояться. Коровы, как по команде, поднимают головы — как те парни в писсуаре, коровы и овцы все делают в унисон. Меня всегда это раздражало. Таращиться, щипать травку и мочиться — ну что тут может быть общего?

Я иду писать в кусты. Очередная загадка, почему в середине ночи, в пустынном месте, где нет ни души, человек ищет кусты?

На вершине холма, где посуше, свистит ветер и открывается вид. Внизу светятся огни поселка — точно дают наводку бомбардировщикам в войну: тайный сговор домов и дорог под покровом тьмы. Я присаживаюсь и доедаю сэндвич с яйцом и салатом. Мимо быстро проشمыгнул кролик и, прежде чем скрыться в норе, окинул меня тем же недоверчиво-подозрительным взглядом, что и корова.

Ленты огней там, где пролегают дороги. На дальней фабрике — какие-то яркие вспышки. В небе — зеленые и красные огни самолета, полного спящих пассажиров. Прямо внизу более слабые огоньки деревеньки, а поодаль, отдельно от других, одинокий огонь горит в ночи — будто указывает мне путь. Мне бы хотелось, чтобы это был мой дом. Вот бы взобраться на гребень и увидеть, куда мне идти. Но прежде, чем выйти на прямую дорогу, мне предстоит обрывистый спуск по мрачным

зарослям.

Я не могу без тебя, Луиза. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Что же тогда убивает любовь? Только одно — небрежение. Не видеть тебя, когда ты стоишь передо мной. Забывать о тебе в тысяче мелочей. Не торить тебе путь, не накрывать стол. Желать не от страсти, а по привычке. Проходить мимо продавцов цветов, не вспомнив о тебе. Оставлять невымытой посуду, незастеленной постель, не обращать на тебя внимания по утрам, но пользоваться тобой ночью. Желать другую, чмокая тебя в щеку. Произносить твое имя, не слыша его и присвоив его.

Почему до меня не дошли твои слова о том, что ты не хочешь возвращаться к Эльджину? Почему не получилось увидеть твоего серьезного лица? Мне казалось, что я поступаю правильно, и соображения мои разумны. Время показало, что сердцеви́на не должна быть жесткой. Что означал на деле мой героизм и моя жертвенность? То была твоя тупость — или моя?

Мой друг сказал мне перед моим отъездом из Лондона: «По крайней мере, твои отношения с Луизой удались. Это был чудесный роман».

Да? Вот она — цена совершенства? Оперная героика и трагический конец? А нелепый конец? Многие оперы заканчиваются нелепо. Счастливый финал часто — компромисс. И что же, больше никакого выбора?

Луиза, звезды в твоих глазах — мой единственный свет, но прежде глаза мои были прикованы к земле. Ты повела меня ввысь, ты вывела меня к свету, мы парили над крышами, и наш путь не был путем благоразумия и пристойного поведения. Никаких компромиссов. Мне следовало довериться тебе, но дух мой оказался слаб.

Вскарабкавшись наверх, я на ощупь нахожу тропинку, ведущую через заросли кустарника вниз к дороге. То был медленный спуск, лишь через полтора часа я перебрасываю через последнюю канаву свою сумку и перепрыгиваю следом. Высоко в небе сияет луна, бросая длинные тени на ухабистую дорогу. Тишина, разве что в лесу прошмыгнет лиса. Тишина, только ухает где-то сова. Тишина, лишь мои ботинки хрустят по гравиию.

За полмили до дома я вижу, что окна моего коттеджа ярко освещены. Гейл Райт знала, что я возвращаюсь, мне удалось дозвониться ей в бар. Она присматривала за котом и обещала, что оставит растопленную печь и какую-нибудь еду. Мне нужен огонь и еда, но не Гейл Райт. Она занимает слишком много места, она слишком настоящая, я же с каждым днем все меньше присутствую в настоящем. Ходьба измотала меня. Тело мое одеревенело. Мне хочется завалиться в кровать, хоть ненадолго впасть в забытьё. Я не стану церемониться с Гейл.

В свете луны земля кажется заиндевелой, серебрится у меня под ногами. Там, где река жирной полосой рассекает заросли, низко над водой висит туман. Река журчит спокойно, прочно и глубоко. Я наклоняюсь и ополаскиваю лицо, вода проливается мне на шарф и течет по горлу. Я отряхиваюсь и, глубоко вдохнув, наполняю легкие твердым морозным воздухом, обжигающим нёбо и глотку. Очень холодно сегодня, металлические звезды висят надо мной в вышине.

Добравшись до коттеджа, я обнаруживаю, что дверь не заперта и Гейл Райт дремлет в кресле. Огонь горит, как заговоренный, и на столе стоят свежие цветы. Свежие цветы и скатерть. Новые занавески на обшарпанных окнах. Мое сердце упало. Должно быть, Гейл Райт собирается переселиться ко мне.

Она просыпается и придирчиво оглядывает себя в зеркальце. Потом легко целует меня и принимается разматывать мой шарф.

— Сколько воды!

— Мне захотелось постоять у реки.

— Надеюсь, не для того, чтобы покончить счёты с жизнью?

Я мотаю головой и стягиваю с себя пальто — мне кажется, оно стало слишком тяжелым.

— Садись, лапа. Я сейчас приготовлю чай.

Я опускаюсь в продавленное кресло. Вот таким и должен быть правильный конец? А если не правильный, то неизбежный?

Гейл возвращается с чайником, пар над ним клубится, как джинн, выпущенный из бутылки. Это новый чайник — не тот, что с отбитым носиком плесневел на полке. Новый горшок для старого питья.

— Мне не удалось найти ее, Гейл.

Она треплет меня по плечу.

— А много было попыток?

— Бессчетное множество. Она исчезла.

— Люди не исчезают.
— Еще как исчезают. Она возникла из воздуха, а теперь испарилась. Где бы она ни была, я не могу туда добраться.
— А если сможешь?
— Если бы... Верь я в загробную жизнь после смерти, тышла бы меня на дне реки. Уже сегодня.
— Не надо! — говорит Гейл. — Я не умею плавать.
— Как ты думаешь — она умерла?
— А ты?
— Я не могу ее найти. Я не могу обнаружить никаких ее следов! Будто Луиза никогда не существовала, будто она — персонаж романа. Неужели она — моя фантазия?
— Нет, но чуть было не стала ею, — замечает Гейл. — Не тебе ее придумать.
— Разве это не странно? Жизнь, что должна быть богатой и полной приключений, как поиск сокровищ, на поверку оборачивается стертой медной монеткой. Голова — на одной стороне, история — на другой: кого-то любишь, и вот что случилось. И в карманах больше ничего. А самое главное — на монете чье-то чужое лицо. Но чей же еще профиль тогда отпечатался на пальцах?
— Ты все еще любишь ее?
— Всей душой.
— И что ты собираешься делать?
— А что я могу сделать? Луиза как-то сказала, что все беды — от клише. А что хочешь от меня услышать ты? Что я все это переживу? Ведь так? Так принято говорить. Время — великий умертвитель.
— Прости меня, — говорит Гейл.
— И ты меня тоже прости. Мне бы так хотелось сказать ей правду.

В дверях кухни — лицо Луизы. Тоньше, бледнее, но густая грива волос по-прежнему — кровавая. Я протягиваю руку и дотрагиваюсь до нее. Она берет мою ладонь, и подносит к губам. Знакомый шрам жжет меня. Может быть, я схожу с ума? Она теплая и живая.

Вот здесь и начинается наша история — в этой запущенной комнатухе. Стены раскалываются, окна превращаются в телескопы. Увеличенные луна и звезды вплывают в комнату. Солнце зависает над камином. Протянув руку, я достаю до края света. Мир сворачивается в клубок и весь умещается в комнате. Мы же выйдем наружу, за двери, туда, где река, туда, где дороги. Мы можем прихватить с собой весь мир, когда уйдем, можем сунуть солнце подмышку и забрать его с собой. Давай скорее, уже темнеет. Не знаю, можно ли считать такой конец счастливым, но мы выходим на волю — в открытые поля.